

Джон Фаулз

ДЭНИЕЛ МАРТИН



На берегах фантазии. Проза Джона Фаулза

Джон Фаулз

Дэниел Мартин

«ЭКСМО»

1977

Фаулз Д. Р.

Дэниел Мартин / Д. Р. Фаулз — «Эксмо», 1977 — (На берегах фантазии. Проза Джона Фаулза)

ISBN 978-5-699-54587-2

Джон Фаулз – один из наиболее выдающихся (и заслуженно популярных) британских писателей двадцатого века, современный классик главного калибра, автор всемирных бестселлеров «Коллекционер» и «Волхв», «Любовница французского лейтенанта» и «Башня из черного дерева». «Дэниел Мартин» – это британский «сад расходящихся тропок», книга, которую сам Фаулз называл «примером непривычной философии, выходящей за рамки обывательского понимания» и одновременно «попыткой постичь, каково это – быть англичанином». Герой этого романа – бывший драматург, а теперь преуспевающий голливудский сценарист – возвращается в Англию навестить заболевшего друга. Оказавшись в компании людей, хорошо знавших его прежде, он вынужден наконец разобраться с тайнами, скрытыми в его прошлом, и, произведя радикальную переоценку ценностей, найти себя...

ISBN 978-5-699-54587-2

© Фаулз Д. Р., 1977

© Эксмо, 1977

Содержание

Жатва	6
Игры	14
Женщина в камышах	21
Непредвзятый взгляд	30
Калитка в стене	40
После	47
В пути	56
Зонт	66
Акт доброй воли	78
Возвращения	82
Тарквиния	89
Бумеранг	95
Вперед – в прошлое	107
Нарушитель молчания	112
Rencontre[14]	127
Преступления и наказания	132
Конец ознакомительного фрагмента.	135
Комментарии	

Джон Фаулз Дэниел Мартин

*Кризис заключается именно в том, что старое уже умирает,
а новое еще не может родиться; в этом междуцарствии возникает
множество разнообразнейших патологий.*

Антонио Грамши. Тюремные тетради^[1]

John Fowles

DANIEL MARTIN

Copyright © 1977 by John Fowles

© Бессмертная И., перевод на русский язык, статья, примечания, 2012

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2012

Жатва

*Но что случилось с этим человеком?
Весь день (вчера позавчера сегодня тоже)
сидел молчал уставившись в огонь
наткнулся на меня уже под вечер спускаясь по ступеням
и мне сказал:
«Лжет тело мутится вода и сердце колеблется
и ветер теряет память забывая все
но пламя остается неизменным».
Еще сказал он:
«Знаешь я люблю ту женщину которая исчезла ушла
в потусторонний мир быть может; но все же не потому
кажусь я брошенным и одиноким
Я пытаюсь держаться как то пламя
что вечно остается неизменным».
Потом поведал мне историю свою.*

Георгос Сеферис. Стратис-Мореход описывает человека^[2]

Увидеть все целиком; иначе – распад и отчаяние.

Последний лесной участок лежит на восточном склоне глубокой лощины, у самого гребня; склон такой крутой и каменистый, что плугом не взять. От бывшего леса осталась лишь небольшая купа деревьев, в основном – буки. Поле сбегает вниз по склону от стоящих стеной стволов, мягко круглясь к западу, и тянется до самых ворот, распахнутых в долину Фиш-эйкрлейн. На траве у зеленой изгороди темные пальто укрывают корчагу с сидром и узел с едой; рядом поблескивают две косы – с утра пораньше тут из-под кустов выкашивали траву, еще мокрую от росы.

Теперь пшеница уже наполовину сжата. Льюис сидит высоко на сиденье жатки, когда-то карминно-красной, выгоревшей на солнце; он наклоняется, напрягая шею, вглядывается в гущу рыжеватых стеблей – не попадет ли камень; ладонь чутко сжимает рукоять – не пришлось бы поднимать ножи. Капитан практически не нуждается в вожжах: столько лет в поле, все одно и то же – ходи по свежей стерне рядом с не скошенными еще колосьями. Только добравшись до угла, Льюис чуть покрикивает, совсем негромко, и старый конь покорно поворачивает назад. Салли – лошадь помоложе – помогала тянуть жатку там, где подъем слишком крут; она стоит привязанная в тени боярышника и, объедая листья с зеленой изгороди, хлещет хвостом по бокам.

По стеблям пшеницы ползет вьюнок; осот отцвел, распушил головки; алеют маки; в самом низу – полевые фиалки, трехцветные, их здесь называют «радость сердца», голубые глазки вероники и ярко-красный очный цвет, белые цветки пастушьей сумки... впрочем, эти уже не так бросаются в глаза. У поля есть имя – «Свои хлеба» (имеется в виду хлеб печеный, то есть «хлебы»): в стародавние времена зерно отсюда шло исключительно на хлеб для фермерской семьи, хватало на год. А небо... глядя из сегодняшнего дня, можно было бы сказать: как в Калифорнии – царственно-яркая августовская синева.

По полю движутся еще четыре фигуры, не считая Льюиса на жатке. Мистер Ласкум: красное лицо, кривая усмешка, очки в стальной оправе, один глаз за ними закрыт бельмом; штопаная рубашка в тонкую серую полоску, без воротника, обшлага обтрепаны; вельветовые штаны на подтяжках подстрахованы еще и ремнем из толстой кожи. Билл, его младший сын: парню девятнадцать, он в кепке, массивный, на голову выше всех остальных на этом поле, мощные загорелые предплечья словно копченые окорока; этот великан медлителен и неловок во всем,

что не касается работы... но поглядите: вот он берется за косу – какими крохотными оказываются тогда ее изогнутое косовище и длинное лезвие^[3], какая быстрота, какой плавный взмах мощных рук, какой неостановимый ритм – поистине царственное владение мастерством. Старина Сэм: бриджи, подтяжки, ботинки с гетрами; лицо теперь не припомнить, зато хорошо помнится его хромота; рубашка на нем тоже без воротника, у соломенной шляпы тулья с одной стороны оторвана («чтоб в дырку сквознячком поддувало, понял, нет?»), за черную ленту засунут букетик привядших фиалок – «радость сердца». И – наконец – мальчишка-подросток, лет четырнадцати-пятнадцати, в совершенно неподходящей одежде; всего лишь подсобная рабочая сила, урожай помогает собирать: бумазейные штаны, светло-зеленая сетчатая майка, старые спортивные туфли.

Работают по двое, на противоположных сторонах поля, одна «команда» движется по ходу часовой стрелки, другая – против, ставят снопы в копны. Подхватываешь сноп правой рукой, повыше шпагатного перевясла – за него братья нельзя! – переходишь к следующему снопу, подбираешь его так же, только теперь левой рукой, и направляешься к ближайшей незаконченной копне; копна – это четыре пары снопов плюс еще по одному с обоих концов – «двери запечатать»; встаешь перед другими снопами, опертыми друг о друга, поднимаешь свои два в обеих руках и устанавливаешь, с силой вбивая комли в стерню и одновременно соединяя снопы верхушками. Казалось бы – чего уж проще? Куини, может, и в самом деле так думает, задержавшись на минутку у распахнутых ворот по дороге из пасторского дома, куда ходит по утрам прибираться; стоит себе, придерживая велосипед, наслаждаясь бездельем, и смотрит. Мальчишка машет ей рукой с дальнего конца поля, и она машет ему в ответ. Когда минуту спустя он снова смотрит в ту сторону, она все еще стоит там: летняя шляпка цвета беж, тулью обнимает белая шелковая лента с большой искусственной розой впереди; выгоревшее коричневое платье; тяжелый старый велосипед, на заднем колесе – драная защитная сетка.

Мальчишка ставит два первых снопа – основание новой копны. Они стоят, потом начинают заваливаться на сторону. Он подхватывает их прежде, чем они успевают упасть, поднимает обеими руками повыше, чтобы поставить потверже. Но мистер Ласкум устанавливает свои два всего в шести шагах от него, и снопы стоят домком, прочнее прочного. У мистера Ласкума основание не заваливается – никогда. Кривая усмешка приоткрывает почерневшие зубы, он подмигивает мальчишке; бельмо едва видно, солнце отражается в стеклах очков. Медно-красные кисти рук, старые коричневые башмаки. Лицо мальчишки складывается в гримасу, он забирает свои снопы и ставит их рядом со снопами старого фермера. Внутренняя сторона предплечий у него в ссадинах: пальцы недостаточно сильные. Если копна чуть подальше, в руках снопы не удержать, приходится рывком брать их под мышку, обдирая кожу о колючки. Но ему приятна эта боль – знак жатвы, часть ритуала, как и ноющие мышцы назавтра, как сон нынче ночью, затягивающий, словно омут, – быстро и глубоко.

Потрескивание стерни под ногами, глухой стук составляемых в копны снопов. Рокот жатки, стрекотание ее ножей, и надо всем этим – мельничные крылья. Голос Льюиса от угла поля: «Ну, давай, но, но, Кэп, назад пошел, давай назад, назад!» Ножи переброшены: вжик-вжик, и снова – рокот жатки, звяканье цепи, стрекотание ножей. Над полем медленно плывут пушинки осота, на юг, на юг: их уносит легкий ветерок с севера, теплый легкий воздух поднимает их выше, выше, словно новые звезды в небесную твердь.

Так он и будет длиться, этот день, под небом чистой лазури, и пшеница в снопах будет составляться в копны – «по снопешку копешка». Время от времени старый Ласкум сорвет колос со стебля, покатает зерна в тяжелых ладонях, очищая от остьев, потом, сложив ладонь чашей, осторожно сдует шелуху, взглянется внимательно; попробует зерно на зуб – ощутить вкус самой его сердцевинки, вкус земли и пшеничной пыли; потом сплюнет и осторожно опустит остальные зерна в карман: вечером он бросит их курам. Раза три-четыре жатка вдруг умолкает. Все останавливаются, видят, что Льюис слезает с железного дырчатого седла, и сразу

понимают, в чем дело: сноповязалка забита. За жаткой – россыпь не связанной в снопы пшеницы; раскрыт ящик с инструментами. Льюис – загорелый, застенчивый, много ниже ростом, чем младший брат; единственный в семье механик; молчалив – слова не вытянешь. Те двое, что поближе, подходят, набирают по охапке колосьев; из трех самых крепких стеблей скручивают перевясло, подводят под охапку и закручивают концы: одно движение кисти, и перевясло держит крепко, конец с колосьями подоткнут – сноп не распадется; потом они снова принимаются за незаконченные ряды, оставив Льюиса спокойно заниматься своим делом. Работают молча, каждый сам по себе, стерня потрескивает под ногами.

В час мистер Ласкум вытянет из кармана древние часы-луковицу, крикнет тем, кто в поле, и примется свертывать сигарку. Потные и усталые, они бредут к кустам у ворот, последний – Льюис: он распряг Капитана и привязал его в тени, рядом с Салли; теперь все стоят вокруг темных пальто. Сейчас будет извлечена корчага с сидром. Мальчишке предлагают пить первым – из жестяной кружки. Билл поднимает ко рту всю четырехлитровую корчагу. Старина Сэм ухмыляется. А мальчишка ощущает, как свежая зеленая прохлада заполняет рот, горло, пищевод: сидр прошлогодней варки, с кислинкой, восхитительный, как тень сада после яркого солнца и пшеничной пыли. Льюис потягивает холодный чай из котелка с проволочной ручкой.

Так давно, так далёко... словно сквозь несжатые, тесно стоящие стебли пшеницы: вот они, пятеро мужчин, идут вдоль зеленой изгороди – укрыться в тени ясеня. Старина Сэм отстает – помочиться у пригорка. Садятся под ясенем, а то и растягиваются на земле, развязывают узел с едой: белое полотенце с синей каймой по краям; толстые круглые ломти хлеба, огромные, с колесо тачки величиной, с запеченной, почти черной коркой; густо-желтое сливочное масло; окорок нарезан щедро, куски с хорошую тарелку – тарелку из розового мяса с ободком белого сала по краю, толщиной они чуть ли не в дюйм и укрывают хлеб с обеих сторон; на желтых кубиках масла застыли жемчужные капли пахты; каждый кубик – недельная норма.

– Эт' тебе, а эт' – тебе, – приговаривает мистер Ласкум, распределяя еду. – Слышь, а куда пудин'-то мой подевался, изюмный?

– А мать велела все подесть, – отвечает Билл.

Яблоки «красавица Бата» – хрустящие, с янтарной мякотью, сочные, кисловатые, скорее даже пикантно острые на вкус. Как золотые плоды Примаверы, думает мальчик, эти «произведения» куда лучше, чем побитые и вязкие яблоки «вдова Пелам»^[4]. «Впрочем, что мне за дело, – думает он, впиваясь зубами в толстенный ломоть, – белый хлеб, свежайшая ветчина, вся жизнь впереди».

Поели; теперь и поговорить можно; снова пьют сидр, грызут яблоки. Льюис закуривает сигарету – «Вудбайнз». Смотрит туда, где под жарким солнцем осталась жатка.

Мальчик ложится, стерня покалывает спину, он чуточку опьянел, его уносят зеленые волны девонского диалекта^[5], это его родной Девон, его Англия, голоса наплывают, древние голоса предков, быстрая речь течет, словно извилистая река, обсуждают, что надо выращивать в будущем году на этом поле, что – на других полях. Этот язык настолько характерен для этой местности, так звучен, так легко допускает слияние слов в одно целое, что и сейчас для мальчика, и много позже – навсегда – он останется неотделимым от здешнего пейзажа, от этих роц и фермерских усадеб, этих «баночек» и «мыз». Мальчик застенчив и стыдится своей культурной речи, интеллигентного языка.

Вдруг издалека, миль за пять-шесть от поля, сквозь звучание голосов доносится еле слышный вой сирены.

– Думаю, в Торки, – говорит Билл.

Мальчик садится, вглядывается в южную сторону небосклона. Все молчат. Вой постепенно затихает, теряя силу. Из буковой роши, что над полем, раздаётся двусложный вскрик фазана. Билл резким движением поднимает палец, но прежде, чем успевает завершить жест,

слышится дальний разрыв. И еще один. Потом негромкий басовитый треск авиационной пушки. Три секунды тишины, и снова – пушка. И снова кричит фазан.

– Ну, снова-здорово, опять врасплох застали, – говорит мистер Ласкум.

– Ага, они мастаки догонялки устраивать, – соглашается Билл.

Все выходят из-под ясеня, глядят на юг. Но в небе пусто, оно по-прежнему синее, мирное. Ладони козырьком, прикрывая глаза от солнца, они стараются разглядеть хоть точку, хоть какой-то след, хвост дыма... ничего. Но вот – звук мотора, поначалу чуть слышный, потом вдруг очень громкий; он нарастает, он все ближе, все громче. Все пятеро предпочитают благоразумно укрыться в тени ясеня. Буковая роща пронизана неистовым ревом распростершего над нею крылья чудовища, вопящего в приступе злобного страха. Мальчик, успевший уже много чего прочесть, понимает, что смерть близка. На несколько мгновений, рвущих мир на куски, оно оказывается прямо над ними, всего в двух сотнях футов над высокой частью поля, может, самую малость выше: защитная окраска – темно-зеленое с черным; голубое брюхо; черный крест; стройный, огромный двухмоторный «хейнкель», совершенно реальный, и реальна война, страшно и захватывающе интересно, голуби в панике взлетают с буковых ветвей, на дыбы вздымается Салли, и Капитан тоже, он срывается с привязи, испуганно ржет. Прыжками мчится прочь через поле, потом переходит на тяжелую, неровную рысь. Но чудовищный овод уже исчез, оставив за собой неохотно смолкающий неистовый рев. Мистер Ласкум бежит, почти так же тяжело, как и его конь, кричит:

– Тпру-у, Капитан, стой! Тихо, тихо там. Полегче, малыш.

Билл тоже бежит, догоняет отца. Старый конь останавливается у края нескошенного клина, он весь дрожит. Жалобно ржет.

Мальчик говорит Льюису:

– А я летчика видел!

– Он наш или ихний? – спрашивает старина Сэм.

– Немец! – кричит мальчишка. – Это был немец!

Льюис поднимает вверх палец. Слышно, как вдали, в северной части небосклона, «хейнкель» поворачивает к западу.

– На Дартмут, – говорит Льюис тихо. – Уйдет вдоль реки.

Кажется, что этот великолепный механизм, промчавшийся над их головами, его быстрота, его бесчеловечность и мощь потрясли Льюиса: он только и знает, что ломить тут с полудохлыми лошадьми до седьмого пота, ферма его и от армии спасла... а в душе – древняя, от кельтов доставшаяся тяга к железным римлянам.

Посреди поля его отец оглаживает старого коня и ведет потихоньку назад, к жатке. Билл глядит сверху вниз на троицу под ясенем, потом делает вид, что у него в руках ружье: он целится вверх, провожая воображаемый «хейнкель», и указывает на верхушку холма – там упал бы сбитый им самолет. Даже Льюис не может удержаться от скупой улыбки.

А теперь, как они ни напрягают слух, шагая через поле к не скошенному еще клину, не слышно ни звука, и нет больше войны: ни захлебывающегося треска авиационной пушки, ни разрывов со стороны Дартмута или Тотнеса, ни «харрикейнов», преследующих врага. Льюис берется за вожжи: Капитану пора впрячься в работу; остальные снова склоняются над снопами, и тут откуда-то с высоты, из яркой лазури, раздается хриплый крик. Мальчик глядит вверх. Высоко-высоко – четыре черных пятнышка, то паря в поднебесье, то играючи налетая друг на друга и кувыркаясь, летят на запад. Два взрослых ворона и два птенца; хриплый со сна, вечный голос неба, смеющегося над человеком.

Тайны, загадки: как это фазан мог услышать бомбы раньше людей? Кто послал воронов вот так пролететь над полем?

Хлеб наш насущный: снопы, копны, день длится и длится, прозрачная тень ясеня тянется по стерне. Жатка наступает неотвратимо: нескошенной пшеницы остается все меньше. Выска-

кивает первый кролик; Льюис кричит. Кролик зигзагом мчится между снопами, по-заячьи перепрыгивает последний и скрывается в копне. Билл, оказавшийся совсем рядом, хватается за камень и подкрадывается поближе. Но кролик уже несется прочь со всех ног, только белый хвостик мелькает, и камень пролетает над его головой, не причиняя вреда.

Чуть позже трех поле начинает заполняться людьми: они будто следили специально в ожидании этого момента, точно зная, когда явиться. Два-три старика, молодая толстуха с детской коляской, высокий цыган по прозвищу Малыш и неразлучная с ним собака-ищейка^[6]: Малыш – угрюмый человек с резко выступающим решительным подбородком, существо ночное, гроза местного констебля; говорят, он гонит яблочный самогон где-то в Торнкумском лесу. Вот и ребятишки с хутора Фишэйкр – один за другим подходят по дороге из школы, их семь или восемь, мал мала меньше, пятеро мальчишек и две девчушки, да еще одна – постарше. Распахнутые ворота, словно разверстый рот, втягивают всех, кто идет по дороге: и Куини, и старую миссис Хельер (впрочем, эти, скорее всего, пришли специально), и всех других – детей и взрослых, без разбора. Появляется и темнобровая миссис Ласкум с двумя тяжелыми корзинами: несет полдник. За ней – женщина с добрым лицом, в строгом платье и с нелепой стрижкой «под мальчика»; платье серое с белым, старомодное даже для того времени. Это тетушка «подсобной рабочей силы». А народу все прибывает.

Нескошенной пшеницы осталось всего ничего: клин шириной валков в шесть-семь и в полсотни ярдов длиной. От угла Льюис кричит мужикам, что стоят поближе:

– Тут этих сволочей допдна!

Люди окружают последний клин: все тут – подборщики снопов, дети, старики, Малыш со своей ищейкой; собака – черная, в рыжих подпалинах, вид у нее забитый, она нервозна, вечно жметя к земле, вечно настороже, злобный взгляд, следит за всем вокруг, точно Аргус^[7], и ни на шаг от хозяина. Молодая толстуха; подходит на отекавших ногах, встает в общий круг; грудной сынишка – у нее на руках, коляску она оставила у ворот. У некоторых в руках палки, другие складывают камни кучкой у ног. Кольцо возбужденных лиц вокруг клина, глаза устремлены на пшеницу – не дрогнут ли стебли; ждут команды, старики – народ опытный, осторожный, выжидают, знают когда: не суетись, сынок, осади назад.

В самом сердце клина вздрагивают стебли, волной пошли колосья, словно рябь от стайки форедей по воде. Взлетает фазанья курочка: треск крыльев, квохтанье, взрыв звуков; выскакивает, словно пестро-коричневый чертик из шкатулки, мчится вниз вдоль холма и исчезает за воротами. Смех. «Ой!» – вскрикивает девчушка. Крохотный крольчонок – и восьми дюймов не будет – выбегает из верхнего конца клина, замирает от удивления и бросается прочь. Мальчишка – подборщик снопов – он стоит всего ярдах в десяти от этого места – ухмыляется, глядя, как ребятня наперегонки бросается за крохотным зверьком, в азарте налетая друг на друга, спотыкаясь и падая, а крольчонок петляет, вдруг останавливается, высоко подскакивает и неожиданно удирает назад, в густую пшеницу.

– Эй, пшеницу-то не топчи! Ах ты, чертенок! – кричит мистер Ласкум самому азартному мальчонке.

Теперь с другого конца прокоса пронзительно свистит Льюис, показывает рукой. Большой кролик мчится к зеленой изгороди у ворот, мимо ищейки. Он прорвался сквозь кольцо людей, увертываясь от камней и палок, обегая снопы. Цыган издает долгий, низкого тона свист. Его пес бросается вдогонку, стелясь над землей: кровь гончих недаром бежит в его жилах, даря убийственную ловкость и быстроту. В последний момент кролику удается избежать острых зубов, резко изменив курс. Пес проскакивает мимо, но тут же разворачивается, взбив на стерне красноватую пыль. Все глаза устремлены на него, даже Льюис остановил коня. На этот раз пес не промахнулся. Он ухватил кролика за шею и яростно треплет из стороны в сторону. Цыган снова издает низкий, долгий свист, и пес мчится к хозяину, низко наклонив голову; кролик все еще бьется в длиннозубой пасти. Цыган забирает кролика у собаки, поднимает за задние

лапы и ребром свободной ладони резко бьет по шее зверька. Всего один раз. Тут все до одного знают, откуда у цыгана ищейка: шутка давно прижилась в деревне, так же как и прозвище Малыш. Сам дьявол однажды ночью заявился к нему в Торнкумский лес – спасибо сказать, потому он, цыган-то, столько зелья, от которого кишки гниют, продает всем энтим янкам, что по-за лесом лагерем стоят, а пса энтото сам ему в подарок и приволок. Но, глядя на цыгана с его собакой, деревенские прекрасно понимают, что он явился сюда вовсе не за кроликами: для этого у него в распоряжении все лунные ночи, все поля на много миль в округе. Цыган – воплощение древней, языческой, квазибожественной ипостаси; он явился сюда из тех времен, когда люди были охотники, а не земледельцы; он удостаивает поля своим появлением в период жатвы, оказывая земледельцам честь.

Льюис снова пускает жатку. Теперь кролики выскакивают из пшеницы через каждые несколько ярдов – большие и маленькие, некоторое до смерти перепуганы, другие – полны решимости. Старики бросаются за ними, размахивая палками, спотыкаются, падают ничком; под ногами путаются дети. Визг, крики, брань, торжествующие победные возгласы; мчится ищейка, изворачивается, нагоняет, хватает – беззвучно, безжалостно. Последний валок. И вдруг – вопль боли, как крик младенца, из-под скрытых в пшенице ножей. Не оборачиваясь, Льюис машет рукой назад. Прочь по стерне тащится кролик: у него отрезаны задние лапы. Мальчишка-подборщик бежит, поднимает зверька, торчат окровавленные обрубки. Зеленые шарики кала сыплются из-под хвоста. Кролик дергается в руке; опять тот же вопль... Мальчик резко бьет ребром ладони, еще и еще раз; потом поворачивается и с видом полного безразличия швыряет убитого кролика на грудь других таких же. Остекленевшие круглые глаза, торчащие усы, обмякшие уши, белоснежные хвостики. Мальчик подходит поближе, смотрит на убитых зверьков – их тут, пожалуй, уже больше двадцати. Сердце у него вдруг сжимается... странно сжимается, не предчувствием ли? Наступит день, когда в опустевшем поле он заплачет об этом.

Он поднимает голову и видит двух женщин, они – единственные, кто не принимал участия в этой бойне: его тетушка и миссис Ласкум стоят у растянутой на стерне под ясенем скатерти и мирно беседуют. Рядом с ними поднимается в воздух голубоватый дымок: водруженный на камни, греется старый, почерневший от копоти чайник. Последний кролик, преисполненный решимости, мчится прямо к подслеповатому старому Сэму, проскакивает у него промеж ног, уходит далеко от преследующих его мальчишек. Ищейка пытается проскользнуть между ними, на мгновение утрачивает равновесие, теряет кролика из виду и наконец-то позволяет себе огорченно тявкнуть; в отчаянии оглядывается – такое множество орущих, подгоняющих, машущих руками двуногих вокруг! Видит вдали мелькающий белый хвостик и снова пускается в погону. Но кролик успевает скрыться в зеленой изгороди. Цыган свистит. Пес прыжком поворачивает вспять, возвращается к хозяину, поджав хвост.

Время раздавать призы. Старый мистер Ласкум стоит у груды охотничьих трофеев; он слегка смущен – не привык играть роль царя Соломона. Один кролик – тому, еще один – другому, крольчонка – кому-то из ребятишек, пару жирных кролей – цыгану, еще одного – старине Сэму. Шесть штук – мальчику-подборщику.

– Давай-ка снеси их под ясень, Дэни.

И Дэни (сам он предпочитает именоваться Дэн) шагает через поле, держа тушки за задние лапы – по три пары лап в каждой руке, идет словно Нимрод^[81]; направляется под ясень – пить чай.

Миссис Ласкум – маленькая, черные брови изогнуты, словно две запятые, – стоит над костерком из хвороста, уперев руки в бока, улыбается мальчику.

– Ты сам их всех словил, Дэни?

– Только двух. И то один не считается, он под ножи попал.

– Бедняжка, – говорит тетушка.

Миссис Ласкум почтительна, но презрение свое высказывает ничтоже сумняшеся:

– Да что вы, милая моя, ежели б не та каменная стенка, что ваш сад огораживает, вы б и слезинки из-за *этих* не уронили.

Тетушка ласково улыбается ему, а миссис Ласкум берет кроликов, прикидывает вес, одобрительно кивает, щупает заднюю часть у каждого, отбирает пару поувесистее.

– А это – вам на ужин, Дэнни.

– Ой, правда? Спасибо огромное, миссис Ласкум.

– Вы правда хотите их нам отдать? – спрашивает тетушка. И добавляет: – Просто не знаю, что бы мы без вас делали.

– А отец где? – спрашивает мальчик.

– Кажется, сам благочинный^[9] к нему приехал. Насчет паперти.

Мальчик кивает молча, таит свое одиночество, глубоко запрятанный эдипов комплекс; он уже подошел к тому перекрестку, который всем сыновьям предстоит перейти.

– Ладно, – говорит он. – Вот только кончим копнить.

Он идет к остальным, уже принявшимся за работу; но теперь в поле много больше рабочих рук – как на картинах Брейгеля. Ребятишки подтаскивают дальние снопы поближе к подборщикам, соревнуясь – кто скорее; даже Малыш снисходит до подборки снопов в последние двадцать минут.

Потом – снова под ясень: ритуал неизменный, как святое причастие; старая скатерть в розовую и белую клетку, хлеб, литровая миска с густыми сливками, горшочки с вареньем – малина, черная смородина; выщербленные белые кружки; два заварочных чайника, черно-коричневые, того же цвета, что и кекс, буквально набитый изюмом и коринкой. Но лучше всего – запретные топленые сливки, румяная складчатая пенка утопает в их пышной белизне. С начала времен на свете не было сливок, равных этим: голод, разбуженный жатвой, солнце, дети, окружившие скатерть и не сводящие с нее глаз, запах пота... Луг, и хлев, и шумное дыхание темно-красных девонских коров... Амброзия, смерть, сладость малинового варенья.

– А ты его видала, ма? А вы его видали, миз Мартин? Да мы тут все до евонного самолета прям дотронуться могли, верно, Дэнни?

Позже.

Он один посреди высоченных буков, над безлюдным теперь, уставленным копнами полем, в роще, где так мягка и плодородна земля; он приходит сюда каждую весну, чтобы отыскать первую адоксу-мускатницу – такое недолговечное удивительное крохотное растение, пахнущее мускусом, на изящной головке – четыре бледно-зеленых цветка, словно четыре лица. И здесь тайна, загадка: это его цветок, его нынешняя эмблема, почему – не объяснить. Солнце низко склоняется к западу, он больше всего любит предзакатные часы. Косые лучи высвечивают пастбище по ту сторону долины; параллельные волны трав бегут там, где когда-то, целую вечность назад, шли волю, таща за собой тяжелый плуг; туда ему тоже надо наведаться, теперь уже скоро, потому что еще один его любимый цветок, скрываемый ото всех, – пахнущая медовыми сотами орхидея *Spiranthes spiralis* — вот-вот распустится на старом лугу. Он тщательно оберегает то, что ему известно: птичьи знаки, места, где рождаются редкие растения, кое-что из латыни и фольклора, потому что ему столь многого еще недостает. Листья буков над ним кажутся прозрачными в лучах заходящего солнца. Совсем рядом, чуть выше, курлычет горлинка, попискивает поползень.

Мальчик сидит опершись спиной о буковый ствол, сквозь листву разглядывая поле внизу. Нет прошлого, нет будущего, время очищено от грамматических форм; он вбирает в себя день сегодняшней, переполненный ощущением бытия. Его собственный урожай еще не созрел для жатвы, но мальчик словно слит в одно целое с этим полем: оттого-то ему и было так страшно. Страшна не сама смерть, не смертная боль от ножей жатки, не вопль, не окровавлен-

ные обрубки ног... но то, что так легко умереть, уйти из жизни прежде, чем снова созреет пшеница.

Непостижимая чистота; непреходящее одиночество.

Он смотрит вниз, почти скрытый листвой. Смотрит на мир глазами укрытой от чужих взоров птицы.

Я нащупываю в его кармане складной нож, вытаскиваю наружу, вонзаю в краснозем – очистить от грязи и гадости: этим ножом были удалены внутренности двух кроликов, печень, кишки... еще слышен отвратительный запах. Мальчик встает, оборачивается к дереву и принимается вырезать на стволе бука свои инициалы. Глубокие надрезы, сняты полоски серой коры, открывается сочная зелень живой сердцевины ствола. Прощай, мое детство, прощай, сновиденье.

«Д. Г. М».

И чуть ниже: «21 авг. 42».

Игры

- Так и напиши.
- Нет.
- Ты просто должен это написать.

Он улыбается в темноте:

- Дженни, в творчестве нет никаких «должен».
- Ну – можешь.

Тонем строгого папаши он произносит:

- Тебе давно пора бы заснуть.

Но сам он стоит у окна совершенно неподвижно, пристально вглядываясь в ночь; из темноты комнаты он смотрит на пальмы и пуансеттии, на широкие листья рицичника в саду; и дальше – за ограду сада: деловая часть города, безбрежное плато обычной, ювелирно сияющей огнями ночи. Он на долгий миг закрывает глаза – потушить это сияние.

- Тут призраков полно. В конце концов они тобой завладевают.

- Ну вот, теперь ты в ложную романтику ударился.

– Ты хочешь сказать, что меня до сих пор еще не обнаруживали мертвецки пьяным в студийном буфете?

- Ох, Дэниел, что за чушь!

Он не отвечает. Тишина. Вспыхивает огонек зажигалки. В оконном стекле на мгновение он видит лицо, длинные волосы, янтарный очерк дивана. И белизну – там, где распахнуто темно-синее, не стянутое поясом кимоно. Прелестный ракурс; особенно прелестный потому, что ни одна камера, ни один кадр никогда в жизни не смогут его запечатлеть. Зеркала. Темная комната. И эта красная точка в стекле – непослушанья алое пятно – в сочетании с темно-синим там, в глубине; алмазы и гранаты внизу и сияние небесных огней.

Она говорит очень тихо:

- Будь помягче, а?

Это ужасно, это подступает как тошнота в неподходящий момент: живущий в нем мальчишка-подросток по-прежнему восхищается тысячу раз виденной россыпью огней за окном, его по-прежнему волнует этот символ успеха; он самоуверен, он всего добился сам; он высмеивает все, что успел узнать, все, чему научился, все, что ценил.

Он отворачивается от окна, проходит через комнату к столику у двери: столик – поддельный «бидермейер»^[10].

- Ты чего-нибудь хочешь?

- Только тебя. И неразбавленным. В порядке исключения.

Он наливает себе виски, разбавляет содовой, отпивает глоток; добавляет еще воды; поворачивается к ней:

- По правде говоря, я должен бы тебя уложить спать.

- Ради всего святого, иди сюда и сядь.

Изящный поворот головы над спинкой дивана, пристальный взгляд.

- Ты заставляешь меня играть.

- Прости.

- Мне этого и днем хватает. Если помнишь.

Он подходит к ней, садится на край дивана; опирается локтями о колени, потягивает виски.

- Когда это началось?

Он делит все разговоры на две категории: когда ты просто разговариваешь и когда ты разговариваешь, чтобы слушать себя. В последнее время его разговоры все больше сводились

к этой второй. Нарциссизм^[11]: когда – с возрастом – перестаешь верить в свою уникальность, тебя увлекает сложность собственной личности, как будто наслоения лжи о самом себе могут заменить незрелые юношеские иллюзии, а словесные ухищрения способны скрыть провал или заглушить гнилостный запах успеха.

– Сегодня днем. Когда ты ушла. Я пошел на съёмочную площадку. Побродил там. Все эти пустые павильоны. Такое чувство пустоты... впустую потраченного времени. Усилий. Всего.

– Да еще меня надо было ждать.

– Ты ни при чем.

– Но дело именно в этом?

Он отрицательно трясет головой.

– Звезда экрана и ее жеребчик?

– Это просто миф. Старое клише.

– Но оно по-прежнему в ходу.

– Туземцам ведь надо чем-то платить, Дженни.

Она сидит, закинув руку на спинку дивана, вглядывается в его лицо. Ей виден лишь профиль.

– Оттого-то меня так раздражает Хмырь. Он думает, что такой весь неотразимый, такой современно-сексуальный, да-что-ты-детка! Стоит ему тебя увидеть, как он одаряет меня взглядом... Этаким всезнающий, опытный, догола раздевающий взгляд. В следующий раз спрошу его, зачем он презервативы на глаза надевает.

– Что ж, это добавит остроты в ваши сцены.

Она поднимается, медленно идет к окну, гасит сигарету в глиняной пепельнице у телефона... Да, конечно, она играет. Теперь она смотрит в окно, как смотрел он, на этот отвратительный город, на эту неестественную ночь.

– Чего я про этот мерзкий город никак не пойму, так это как им удалось изгнать отсюда всякую естественность.

Она возвращается, останавливается перед ним, сложив руки на груди, смотрит сверху вниз.

– Я хочу сказать, почему все они так ее боятся? Почему бы им не принять как само собой разумеющееся, что просто мы – англичане, у нас могут быть какие-то свои собственные, английские... Ох, Дэн!

Она садится рядом, прижимается – ему приходится ее обнять, – целует его ладонь и кладет к себе на грудь.

– Ну ладно. Значит, ты побродил по площадке. Но это же ничего не объясняет. Почему ты... Ну, дальше?

Он смотрит в глубь комнаты.

– Думаю, все дело в проблеме реальности. Реальность невозможно запечатлеть. Все эти павильоны, декорации квартир... Они все еще стоят там. А фильмов этих уже никто и не помнит. Дело в том, что... все королевские пьесы и все королевские сценарии... и ничто в твоём сегодняшнем дне не сможет тебя, как Шалтая-Болтая^[12], опять воедино собрать.

– Предупреди меня, когда надо будет отирать слезы с глаз.

Он чуть слышно фыркает носом, на мгновение нежно сжимает ее грудь и убирает руку.

– Это лишь подтверждает мои слова.

– Кто-то напрашивается на комплименты.

– Ничего подобного.

– Да тебя же ни с кем... Ты и сам прекрасно это знаешь.

– Только по здешним меркам.

– Чушь.

– Знаешь, дорогая, когда тебе...

- О боже, опять двадцать пять!
Он с минуту молчит.
- В твоём возрасте я мог смотреть только вперед. А в моем...
– Тогда тебе следует обратиться к окулисту – зрение проверить.
– Да нет, вряд ли. «Коль цену хочешь знать осколкам, спроси руины».
– «Так в этом мы с тобою схожи. Иеронимо бредит вновь»^[13].
Она отодвигается, усмехается в темноте и грозит ему пальцем:
– Ты просто забыл следующую реплику, верно? Нечего цитатами в актрис швыряться.
Может, мы и глупые коровы, но уж драматургию знаем не хуже вас.
- Это сценическая реплика. Не реальность.
Она опускает взгляд.
– А ты паршиво выбрал роль.
– Да просто тщеславие навыворот. Все оглядываюсь на собственные шедевры.
– Ой-вей!¹ Так мы, оказывается, не Шекспир!
– Пожалуй, мне лучше уйти, – тихо говорит он.
Но она заставляет его снова сесть, снова ее обнять, прижимается лицом к его плечу.
– Веду себя по-хамски.
– Значит, заслужил.
Она целует его плечо сквозь рубашку.
– Я понимаю, сломалось что-то в душе, руины, осколки... Просто мне больно сознавать, что я все это усугубляю.
- Он притягивает ее поближе.
– Ты как раз один из тех осколков, которые придают жизни смысл.
– Только... если бы я...
– Мы ведь уже все решили.
Она завладевает его рукой.
– Расскажи мне. Что такое случилось сегодня?
– Я зашел в старый павильон, где «Камелот»^[14] снимали. И меня вдруг словно ударило.
Понял – это обо мне. Попрание мифов. Вроде я напрочь отлучен от того, чем должен был быть. – Он помолчал. – Прокол.
– Это еще что такое?
– Вопрос на засыпку.
– А ты попробуй.
– Видимо, дело в средствах отображения. Они искусственны.
– И что же?
– А то, что, если я когда-то надеялся отобразить что-то, не надо было лезть в театр и кино. Они просто... там попирается реальность.
– И что же такое это «что-то»?
– Да бог его знает, Дженни. Истина о себе самом? История собственной жизни? Получается какой-то отвратительный солипсизм^[15].
– Но ты когда-то убеждал меня, что суть всякого искусства – солипсизм.
Он молчит, по-прежнему глядя в глубину комнаты.
– Большую часть своей сознательной жизни я потратил, стараясь научиться находить неизбитые слова, делать сцены острыми и живыми. Учился наполнять смыслом паузы между репликами. Создавать других людей. Всегда – других. – Он снова долго молчит. – Будто в меня вселился кто-то другой. Давным-давно.
– Какой другой?

¹ О горе! (*идиши*)

– Предатель.

– Чепуха. Но продолжай.

Он гладит ее волосы.

– Путь наименьшего сопротивления. Пишешь: «Комната, средний план, ночь, женщина и мужчина на диване». И покидаешь место действия. Пусть другие будут Дженни и Дэном! Пусть кто-то другой говорит им, что делать. Снимает их на пленку. Сам ты избавлен от риска. Больше не хочу иметь дело с другими. Только – с самим собой. – Он перестает гладить ее волосы, шутливо ерошит их. – Вот и все, Дженни. Я вовсе не собираюсь начать все сначала. Просто хочу, чтобы ты поняла – мне до смерти надоели сценарии.

– И Голливуд. И я.

– Ты – нет.

– Но ты же хочешь вернуться домой.

– Не буквально. В переносном смысле.

– Так с этого мы и начали. Пиши воспоминания.

– Я придумал слишком много бумажных персонажей, не стоит добавлять в этот список еще и самого себя. Все равно вышло бы одно вранье. Не смог бы правдиво отобразить реальность.

– Тогда напиши роман.

Он фыркает.

– Почему – нет?

– Не знал бы, откуда начать.

– Отсюда.

– Дурочка.

Она отодвигается подальше, подбирает под себя ноги, сидит, задумчиво его разглядывая.

– Нет, серьезно.

Он усмехается:

– Начать с бредовых признаний немолодого мужчины, в период климакса оказавшегося с молодой и голенькой звездой экрана в стране Гарольда Роббинса^[16]?

Она запахивает кимоно.

– Это гнусно. Сказать такое о нас обоих.

– Пресытившись сексом и пытаюсь вспомнить, что ему было известно из Аристотеля, он попытался вкратце изложить теорию...

– Никакая я не звезда экрана. Я – твоя Дженни.

– Которая к тому же невероятно терпелива со мной.

– Деньги у тебя есть, так что временем своим ты можешь распоряжаться как угодно.

– Совесть у меня нечиста: вся дохлой рыбой провоняла.

– А это что должно означать?

– Слишком много дохлых рыбин пришлось выпотрошить, чтоб хоть одну живую правдиво описать.

– Значит, у тебя рука набита. Не пойму, чего ты боишься? Что теряешь?

– Боюсь променять шило на швайку. Потерять и последний клочок.

– Клочок?

– Шерсти. Который с паршивой овцы.

Она молчит, думает, смотрит внимательно.

– Это что, все из-за последнего сценария?

Он отрицательно качает головой:

– Скука смертная их писать, но я их могу сочинять хоть во сне. Как компьютер.

Он поднимается, снова подходит к окну. Она поворачивается на диване, глядит ему в спину. Помолчав с минуту, он продолжает уже более спокойно:

– Раз уж ты сбежал, Дженни, пути назад тебе нет. Вот и все, что я хотел сказать. Пытаться... Пустые мечты. Все равно что хотеть вернуться в материнское лоно. Повернуть время вспять. – Он оборачивается к ней, усмехается в темноте. – Ночные бредни.

– Это просто пораженчество. Все, что тебе надо сделать, – это записать наш разговор. Как есть.

– Это уже последняя глава. То, чем я стал.

Она опускает глаза. Молчит. Пауза. «Перебивочка», как говорят на студии.

– Билл тут на днях распространялся про тебя. Почему ты за режиссуру никогда не берешься.

– И что же?

– Я ему объяснила. Как ты мне.

– А он что?

– Довольно пронизательно заметил, что порой стремление к совершенству на поверку оказывается лишь боязнью провала.

– Как мило.

– Но ведь и правильно?

Он смотрит сквозь тьму на ее полное упрека лицо, усмехается:

– Думаешь, если обзвать меня трусом, это поможет делу?

Она медлит с минуту, потом поднимается с дивана, подходит к нему, коротко целует в губы; заставляет сесть в кресло у огромного окна; опускается на пушистый ковер перед ним, опирается локтями о его колени. Слабые отблески падают на ее лицо: за окном светится городское небо.

– Давай мыслить позитивно.

– Давай.

– Моя шотландская прабабка была ясновидящей.

– Ты мне говорила.

– Это не последняя, а *первая* глава.

– А дальше?

– Что-нибудь произойдет. Откроется окно. Нет, лучше – дверь. Калитка в стене.

Она отодвигается, складывает руки на груди, закусывает губу: играет сивиллу.

– А за калиткой?

– История твоей жизни. Как она есть.

Он устало усмехается:

– И когда следует этим заняться?

– Теперь же. До того, как... Ты ведь все равно поступишь так, как решил... До того, как каждый из нас пойдет своей дорогой. – Усмешка покидает его лицо. – Ты ведь сможешь воспроизвести наш разговор? Это очень важно. Обязательно надо его запомнить.

– Я решил, что мы должны расстаться только потому, что люблю тебя. Это ты понимаешь?

– Ты не ответил на мой вопрос.

– Вряд ли смогу.

– Тогда я попробую записать хоть что-то. Завтра. Между съемками. Только самую суть.

– И суть проблемы?

– Ну хотя бы некий ее вариант.

Они молча смотрят друг на друга. Потом он тихо произносит:

– Господи, как же я ненавижу ваше поколение!

А она улыбается ему, словно ребенок, которого только что похвалили; она так растрогана, что в конце концов ей приходится низко наклонить голову. Он протягивает руку, ерошит ей волосы; делает попытку встать с кресла. Она его останавливает:

- Подожди, я с тобой еще не покончила.
- Сумасшедшая девчонка. Тебе надо выспаться.

Она поворачивается к столику с телефоном, что стоит у нее за спиной; не поднимаясь с колен, зажигает лампу; стаскивает на пол толстенный телефонный справочник Лос-Анджелеса, рассматривает обложку; потом оборачивается и задумчиво смотрит на Дэна. Он сидит на краешке кресла, готовый подняться и уйти.

- Дженни?

Она снова опускает глаза.

- Что-нибудь уникальное. Ни на что не похожее.

Она открывает справочник, наклоняется пониже – шрифт слишком мелкий.

- Бог ты мой, да тут ни одной английской фамилии нет!
- Скажи, пожалуйста, что такое ты делаешь?

Но она молчит. Вдруг переворачивает справочник, смотрит в самый конец, быстро листая страницы; останавливается, вытягивает шею: что-то нашла; радостно ему улыбается:

- Эврика! Вольф.
- Вульф?

– Нет, Вольф, «о» в середине. Как в слове «волк». Одинокий. – Она проводит пальцем по странице – до самого низа. – Ага. Вот. «Эс». Очень гибкая буква. Альтадена-драйв. Понятия не имею, где это.

- За Пасаденой. И если ты...
- Умолкни. «Стэнли Дж.». Не годится.

Она захлопывает справочник, окидывает Дэниела взглядом, как барышник – лошадь сомнительных достоинств, указывает на него пальцем:

– Саймон. – Складывает руки на груди. – Как в том стишке. Поскольку ты тоже простачок.^[17] А «Дж.» можно опустить.

Он пристально рассматривает ковер на полу.

- Тебя давно не шлепали по попе?

– Но ты же не можешь использовать в романе свое собственное имя! Тем более что оно такое скучно-добропорядочное. Кому может понравиться герой по имени Дэниел Мартин?

Они привыкли пикироваться, часто менять направление разговора, привыкли к словесным ужимкам и прыжкам; но он отвечает мягко:

- А мне он иногда нравится. В самом деле.

Она складывает руки на коленях, вся – искренность и невинность:

- Она просто напрашивается на посвящение. Всего-навсего.

Он встает с кресла:

– Она напрашивается на то, чтобы получить по заслугам. Если она сию же минуту не окажется в постели, завтра на съемках ее ждет хороший нагоняй за темные круги под глазами.

За ее спиной вдруг резко звонит телефон; оба вздрагивают от неожиданности. Дженни, все еще не поднявшись с колен, сияет от удовольствия:

- Я сама поговорю с мистером Вольфом или ты возьмешь трубку?

Он направляется к двери:

- Оставь. Может, это псих какой-нибудь.

Но она произносит его имя, теперь уже серьезным тоном, не поддразнивая; его предположение вызвало у нее чуть осязаемое чувство страха. Он останавливается, стоит вполборота, глядя на ее темно-синюю спину; она поворачивается к столику, берет телефонную трубку цвета слоновой кости. Он ждет; слышит, как она произносит официальным тоном:

– Да, он здесь. Я его сейчас позову. – И протягивает ему трубку, снова закусив губу, чтобы не рассмеяться. – Международный. Из Англии. Перевели вызов на мой телефон.

- Кто вызывает?

– Телефонистка не сказала.

Глубоко вздохнув, он возвращается к ней: она уже поднялась с колен; он резко берет, почти вырывает из ее руки трубку. Она отворачивается, отходит к окну. Он называет свое имя, ждет у телефона, не сводя взгляда с профиля девушки у окна. Она поднимает руки, потягивается, словно только что проснулась, распускает волосы по плечам; знает, что он наблюдает за ней; не может удержаться – улыбка по-прежнему играет на ее губах.

– Я не стал бы на твоём месте так волноваться. Сто против одного, что какому-то идиоту репортеру с Флит-стрит просто не хватило материала для очередной сплетни.

– А может, это моя прабабка из Шотландии.

Она вглядывается в полуночную беспредельность Лос-Анджелеса. Эта история ее забавляет. Типичная англичанка. Он тянется к ней, хватая за руку, грубо притягивает к себе; пытается поцеловать; он сердится, а ее разбирает смех.

У его уха – шорох немислимых расстояний.

Потом он слышит голос; и происходит невероятное, как в романе: отворяется калитка в стене.

Женщина в камышах

Ветер раскачивает из стороны в сторону обвисшие ветви плакучих ив и морщит поверхность длинного плеса. Лесистые холмы далеко на западе и отделившие их от реки заливные луга испещрены тенями плывущих по летнему небу облаков. У того берега Черуэлла молодой человек, студент последнего курса, орудуя шестом, ведет вверх по течению лодку-плоскодонку. На носу лодки, лицом к нему, удобно откинулась на спинку сиденья девушка в темных очках. Она опустила правую руку за борт, вода журча обегает ее пальцы. Студенту двадцать три года, он филолог, его специальность – английский язык; девушка двумя годами моложе и изучает французский. На нем хлопчатобумажные армейские брюки и синяя трикотажная водолазка; на ней широкая юбка в сборку – «под крестьянку», темно-зеленая, с плотной красно-белой вышивкой; белая блузка; волосы повязаны красным узорчатым платком. У босых ног небрежно брошены сандалии, плетенная из тростника корзинка и несколько книг.

Вид у молодого человека вполне современный, даже для сегодняшнего дня: сегодня не прошла бы только короткая стрижка. А вот ее длинная – по щиколотку – сборчатая юбка и блузка с короткими рукавами-буфф старомодны даже для того времени; цвета слишком кричащие, стремление не казаться «синим чулком» слишком явное... чуть-чуть раздражает, потому что необходимости в этом вовсе нет. Она, если использовать студенческий жаргон того времени, «готова к употреблению»: есть в ней и физическая привлекательность, и утонченность, и некая лишенная холодности элегантность; она это знает и потому держится свободно, даже несколько равнодушно. Зато ее младшая сестра одевается куда лучше: хоть умри, ни за что не наденет на себя допотопное деревенское тряпье. Но девушка в лодке охотно идет на риск, может, потому, что уже помолвлена (хотя и не со своим нынешним гондольером), а может, просто уверена – положение и репутация не позволят заподозрить ее в вульгарности, отсутствии вкуса или в аффектации. Прошлой зимой, например, она появилась на сцене студенческого театра в сетчатых колготках, длинноволосом золотисто-каштановом парике и университетской мантии, вызвав бурный восторг всего зала. «Если б Рита классиков читала...» Имелось в виду, что фамилия Риты – Хейворт^[18]. Но успех был вызван не фривольными шуточками об Аспасии^[19] и гетерах и не коронной песенкой «В теплой атмосфере шел симпозиум, когда я являлась в неглиже» (сочиненной, кстати говоря, именно нынешним гондольером), но несомненным очарованием и пикантностью мимесиса^[20].

У нее темные, четко очерченные брови, прямой взгляд очень ясных карих глаз и темные волосы – настолько темные, что иногда, при определенном освещении, они кажутся черными; классической формы нос; крупный рот чуть улыбается – всегда, даже когда она задумчива; даже сейчас, когда она вглядывается в собственные пальцы, омываемые бегущей водой; она всегда словно вспоминает забавную шутку, услышанную всего час назад. В мужских колледжах за сестрами закрепилось прозвище Божественные близняшки. Иначе их никто за глаза и не называет, хотя они вовсе не близнецы: одна старше другой на год, и этот год разделяет их не только в учебе, но и во многом другом. Когда одна была на первом курсе, а вторая соответственно на втором, они порой одевались одинаково, что и породило прилипшее к ним прозвище. Но теперь, когда их заметили, каждая могла позволить себе быть самой собой.

Божественные близняшки, «снизошедшие» на оксфордскую землю, отличались от остальных и еще кое в чем. Они долго жили за границей, так как отец их был послом. Он умер в тот год, когда началась война, а годом позже их мать снова вышла замуж и снова – за дипломата, только на этот раз американского. Всю войну девушки провели в Соединенных Штатах, и аура иной культуры все еще витала над ними... они были более открыты, в их речи все еще слышался слабый акцент (несколько позже он исчезнет); в них чувствовалась некая раскованность, которой недоставало студенткам-англичанкам, выросшим при карточной системе, под

вой сирен. И помимо всего прочего, они были богаты, хоть и не выставляли этого напоказ. Их английские родители не испытывали особой нужды в деньгах, а американский отчим (правда, у него были еще дети от первого брака) вообще оказался человеком далеко не бедным. Им было и так многое дано, а тут еще и ум, и привлекательная внешность... это могло показаться уже не вполне справедливым. Близких подруг у сестер в университете не завелось.

Девушка поднимает глаза на работающего шестом спутника:

– Мое предложение остается в силе.

– Да я с удовольствием. Правда. Мне нужно размяться. Зубрил последние три дня как оглашенный.

Он отталкивается шестом, поднимает его над водой, перекидывает вперед, пока не ощутит беззвучный толчок о дно реки, ждет, чтобы поступательное движение лодки поставило шест вертикально, отталкивается снова, теперь используя волочащийся сзади шест в качестве руля, корректирует направление и снова переносит шест вперед. Лицо его складывается в гримасу.

– Провалюсь как пить дать. Кожей чувствую.

– Кто бы говорил! Спорим, сдашь лучше всех.

– Уступаю пальму первенства Энтони.

– Он больше всего боится древней истории. Думает, на степень первого класса ему не потянуть.

Она смотрит поверх очков, словно старый профессор; произносит притворно-мрачным тоном: «Фукидид^[21] – самое слабое мое место».

Он усмехается. Она оборачивается, смотрит вперед, на реку. Вниз по течению движется другая плоскодонка, в ней четверо второкурсников – девушка и трое ребят. Замечают идущую против течения лодку. Один из студентов оборачивается к девушке, что-то говорит ей; теперь все четверо вглядываются в гондольера и его спутницу – лениво, притворно-равнодушно, как смотрят умудренные жизнью прохожие на местных звезд первой величины: Зулеек^[22] и прекрасных принцев-старшекурсников. «Звезды» не обращают внимания: они привыкли.

Еще несколько сотен ярдов, и молодой человек оставляет шест волочиться за лодкой подольше; тыльной стороной ладони оттирает пот со лба.

– Слушай, Джейн, я что-то совсем дошел. И чертовски проголодался. И мне кажется, «Виктория» сегодня закрыта.

Девушка выпрямляется на сиденье, улыбается сочувственно:

– Так давай пристанем где-нибудь здесь. Я не против.

– Впереди как раз должен быть канал. Можно войти туда. От ветра укрыться.

– Прекрасно.

Через минуту обнаруживается канал – старый дренажный ров, идущий под прямым углом от берега реки на восток; по обеим сторонам рва – обсаженные ивами заливные луга. Прогулочная дорожка – на другом берегу реки. Устье канала украшает облезлая доска: «Частное владение. Высадка на берег строго запрещается». Но, войдя в канал, они обнаруживают там еще одну лодку. В ней двое старшекурсников, один растянулся на носу, другой – на корме: читают; между ними – открытая бутылка шампанского. Обернутое золотой фольгой горлышко привязанной за кормой второй бутылки покачивается в зеленоватой прохладной воде. Тот студент, что повыше, с копной светлых волос и раскрасневшимся лицом, поднимает голову и вглядывается в нарушителей покоя. У него странные, чуть водянистые серо-зеленые глаза, лишенный всякого выражения взгляд.

– Бог ты мой! Джейн, милочка! Дэниел! Неужели от друзей в этом мире нигде не укрыться?

Дэниел замедляет ход лодки, усмехается, глядя сверху вниз на обладателя пышной шевелюры, на учебник в его руке:

– Ну и притворщик же ты, Эндрю! Зубришь! А мы-то верили в тебя.

– Ты не так уж прав, мой милый. Это все из-за моего престарелого родителя. Представляешь, поставил сотню фунтов, что я провалюсь.

Джейн находит все это весьма забавным. Улыбается:

– Ужасная подлость с его стороны. Бедный ты, бедный!

– Оказывается, тут даже кое-что увлекательное можно найти, правда, Марк?

Второй студент, постарше Эндрю, бурчит что-то, не соглашаясь.

– Слушайте, – предлагает он, – может, глотнете шипучки?

Джейн снова одаряет их улыбкой:

– В отличие от вас мы и в самом деле собираемся поработать.

– У вас обоих отвратительно плебейские наклонности.

Все смеются. Дэниел машет им рукой и берется за шест.

Они отплывают на несколько ярдов. Джейн закусывает губу:

– Ну, теперь весь Оксфорд будет сплетничать, что у нас роман.

– Держу пари, что не будет. Эндрю сам до смерти боится, что все в Буллингдоне^[23] узнают про его зубрежку.

– Бедненький Эндрю.

– Богатенький Эндрю.

– Интересно бы узнать, что на самом деле скрывается за этим низеньким лобиком.

– Он вовсе не такой дурак, каким представляется.

– Не слишком ли безупречно это представление?

Он смеется в ответ, отгаликиваясь шестом, ведет лодку сквозь густеющие стебли водяных лилий; продирается через заросли цветущей таволги. Ветер: цветущий на берегу боярышник осыпает их дождем белых лепестков. Девушка достает из воды путаницу соцветий, поднимает повыше – блестящие капли стекают в воду у самого борта. Потом бросает их обратно.

– Может, тут?

– Там подальше есть прудик или что-то вроде того. Во всяком случае, раньше был. В прошлом году мы с Нелл часто сюда заплывали.

Она внимательно рассматривает его поверх темных очков. Он пожимает плечами, улыбается:

– Чтоб без помех целоваться на свежем воздухе.

– Какая отвратительно идиллическая пара.

На его лице – довольная усмешка. Впереди, в осоке, попискивает камышовка; плоскодонка огибает первую полосу тростниковых зарослей; за ними – сплошь заросшая камышом и рогозом вода.

– Черт возьми. Все напрочь заросло. Сейчас, толкнусь еще разок.

Он погружает шест в воду и толкает лодку изо всех сил туда, где – как ему кажется – посреди стоящих стеной стеблей светится свободное пространство. Девушка чуть слышно вскрикивает, когда суденышко врзается в зеленую преграду, прикрывает руками голову. Плоскодонка проходит ярда три, натывается на что-то мягкое, останавливается, ее нос приподнимается над водой.

– Проклятье.

Джейн поворачивается, смотрит вперед, за борт. Вдруг – он в этот момент пытается вытянуть из ила шест – резко оборачивает к нему побелевшее удивленное лицо, рот ее в ужасе раскрыт. Она выдыхает:

– Дэниел! – и прячет лицо в ладонях.

– Джейн?

– Назад, скорее назад!

– Что случилось?

Она передвигается на сиденье, жметя к противоположному борту, закрыв нос и рот ладонью.

– Ох, какой запах ужасный! Пожалуйста, скорее назад.

Но он бросает шест, перешагивает через дощатое сиденье, вглядывается в воду за бортом; теперь видит и он...

Чуть ниже поверхности воды, прямо под носом лодки, – обнаженное серовато-белое женское бедро. Чуть впереди, в камышах, – прогалина, видимо, там – верхняя часть тела: спина, голова... Ноги, скорее всего, в воде под днищем лодки, их не видно.

– Господи!

– Кажется, меня сейчас вырвет.

Он поспешно поворачивается к ней, с силой пригибает ее голову к коленям; пробирается назад, к своему шесту, так резко выдергивает его из ила, что чуть сам не опрокидывается на спину, восстанавливает равновесие и пытается отвести лодку от этого места. Суденышко некоторое время сопротивляется, потом послушно скользит назад, в свободное от камышей пространство. Он видит, как что-то отвратительное, бесформенное всплывает на поверхность там, где они только что были.

– Джейн, ну как ты?

Она чуть кивает, не поднимая головы от колен. Он неловко маневрирует, пытаясь развернуть плоскодонку. Потом, яростно орудуя шестом, ведет ее к устью канала, за первую полосу тростника, останавливает у берега и закрепляет воткнутым в дно шестом. Опускается перед девушкой на колени:

– С тобой все в порядке?

Она кивает, медленно поднимает голову и вглядывается в его лицо; потом странным жестом снимает темные очки и снова смотрит.

– Ох, Дэн!

– Ужас какой.

– Это...

– Я знаю.

С минуту они глядят друг на друга, не в силах осознать случившееся, потрясенные встречей со смертью, разнесшей вдребезги их утренний мир. Он берет ее руки в свои, осторожно сжимает; глядит в сторону устья:

– Пожалуй, надо сказать об этом Эндрю.

– Да, конечно. Мне уже лучше.

Он снова с беспокойством вглядывается в ее лицо, потом поднимается и спрыгивает на берег. Бежит по высокой траве в сторону реки. Девушка сидит, положив голову на высоко поднятые колени, словно не хочет больше смотреть на белый свет.

– Эндрю! Эндрю!

Две головы поворачиваются в его сторону, глядят сквозь ивовую листву; он останавливается, смотрит с берега вниз.

– Мы обнаружили в воде труп.

– Что?

– Труп. Мертвое тело. Кажется, это женщина. В камышах.

Студент по имени Марк, несколькими годами старше Эндрю и Дэна, поднимается и шагает на берег. Он загорелый, усатый, с ясными серыми глазами... Дэниел знает о нем только то, что это один из ничем не примечательных приятелей Эндрю Рэндалла, которых у него везде и всюду полным-полно.

– Точно?

– Абсолютно. Мы на него наткнулись. Можно сказать, прямо в него врезались.

К ним присоединяется Эндрю.

- А Джейн где?
- В лодке осталась. Она ничего. Просто перепугалась.
- Пойдем-ка посмотрим, – говорит Марк.
- Минуточку, мой милый.

Эндрю спускается в лодку, шарит в кармане плаща, извлекает серебряную плоскую флягу в кожаном футляре. Теперь они втроем быстро шагают по берегу туда, где осталась Джейн. Она поднимает голову. Эндрю спускается в лодку, откручивая колпачок фляги.

- Ну-ка глотни капельку, Джейн.
- Да все нормально.
- Это – приказ. Один капелюнчик, и все тут.

Она подносит флягу к губам, глотает, на миг у нее перехватывает дыхание.

Марк оборачивается к Дэниелу:

- Покажи-ка мне, где это.
- Зрелище кошмарное. На черта...

Серые глаза смотрят сурово.

– Я участвовал в десанте у Анцио^[24], старина. И кстати, тебе-то когда-нибудь доводилось видеть утопшую овцу, долго пролежавшую в воде?

- Да, господа, мы же прямо врезались в этот...
- Понял. Все равно надо проверить.

Дэниел колеблется, потом идет за ним вдоль берега, туда, где тростники выступом перерогаживают канал.

- Примерно вон там. – Он указывает рукой. – Посредине.

Марк сбрасывает ботинки, спускается с берега, раздвигая стебли, делает шаг вперед, нащупывая дно. Нога проваливается в ил, он ищет опору потверже, шагает дальше. Дэниел оборачивается. Видит Джейн: она стоит в высокой траве, ярдах в сорока от него, глядит в его сторону. Эндрю подходит к нему, протягивая флягу. Дэниел отрицательно мотает головой. Камыши уже сомкнулись позади Марка, полускрыв его от глаз, вода достает ему выше колен. Дэниел отводит взгляд, рассматривает пурпурные хохолки иссопа на берегу. Две синие стрекозы, сверкая прозрачными, в чернильных пятнах крыльями, трепещут над цветками, потом улетают прочь. Где-то вдали, вверх по каналу, подает голос болотная куропатка. Спину Марка, обтянутую свитером цвета хаки, не разглядеть среди тесно стоящих зеленых стеблей, камыши смыкаются, дав ему пройти; шорох, хлюпанье, плеск.

Эндрю рядом с Дэном бормочет:

- Ставлю пять фунтов, девка какая-нибудь уличная. Опять наши доблестные американские союзнички развлекались. – Потом окликает: – Марк?
- Порядок. Нашел.

Больше ничего Марк не говорит. Им кажется, что он необъяснимо долго остается невидимым в густых камышах, молчит – ни звука; время от времени то там, то здесь колышутся головки рогоза. Наконец он появляется, шагает, тяжело вытягивая ноги из ила, выбирается на траву, мокрый до бедер, ноги облеплены черной грязью; от него несет гнилью, илом; и еще чем-то гадким пропитан воздух, сладковатым, страшным... Марк морщится, бросает взгляд туда, где стоит Джейн, и говорит очень тихо:

- Она довольно давно погибла. Вокруг шеи – чулок, в волосах червей полно.

Он наклоняется, срывает пучок травы, счищает грязь.

- Надо до «Виктории» поскорее добраться. В полицию позвонить.

– Ну слушайте, что за паскудство! Я только-только начал грызть гранит науки. И шампанским запивать.

Дэниел опускает глаза, ему не до шуток. Ему кажется – оба они презирают его... безвольного хлюпика из студенческой богемы, эстетствующего буржуа. Ему неприятно, словно его

обманули, воспользовавшись плодами его собственного открытия. Но он ведь не участвовал в десанте при Анцио и вообще не нюхал порошу за те два бесцельно убитых года, что служил в армии. Втроем они направляются к Джейн. Марк берет командование на себя:

– Вы оба лучше ждите здесь, пока фараоны не явятся. Думаю, вам стоит воспользоваться нашей стоянкой. И бога ради, никого сюда не пускайте. Не надо, чтобы тут кто-то еще топтался. Пошли, Эндрю.

Эндрю улыбается Дэниелу:

– За тобой пятерка, старина.

– А я с тобой пари не заключал.

Дэниел на какой-то миг перехватывает его взгляд – умный, изучающе-насмешливый взгляд отпрыска старинного аристократического рода. Но только на миг. Ему протягивают плоскую флягу:

– Точно не хочешь глотнуть? Щечки у тебя малость побледнели.

Дэниел решительно мотает головой. Эндрю посылает Джейн воздушный поцелуй и отправляется вслед за приятелем. Дэниел ворчит себе под нос:

– Бог ты мой, мне кажется, все это просто доставляет им удовольствие.

– А кто этот второй?

– Да бог его знает. Какой-то герой войны.

Джейн глубоко вздыхает, чуть улыбается Дэниелу:

– Ну вот, мы с тобой опять стали притчей во языцех.

– Приношу глубочайшие извинения.

– Это же я предложила.

От берега кричит Марк и машет рукой: зовет к себе. Дэниел машет в ответ.

– Ты иди, Джейн. Я пригоню лодку.

Когда он добирается до устья канала, она уже стоит на берегу под ивами. У ее ног – неоткупоренная бутылка шампанского. Она корчит гримаску:

– Прощальный дар сэра Эндрю Эйгхмырьчика^[25].

Дэниел смотрит на реку: вторая плоскодонка уже успела отойти сотни на полторы ярдов, ищет укрытия от ветра у противоположного берега. Он привязывает свое суденышко, спрыгивает на берег, подходит к Джейн, зажигает сигарету. Они усаживаются лицом к реке, спиной к этому ужасу, что остался в сотне ярдов за ними. По реке идет еще одна плоскодонка, в ней – пятеро, а то и шестеро, шестом неумело работает девушка; вскрик, смех – она чуть было не выронила шест.

– Он не сказал – она молодая?

– Нет.

Она протягивает руку, берет из его пальцев сигарету, затягивается, возвращает сигарету ему.

Дэниел говорит:

– Во время войны – совсем мальчишкой – я помогал урожаем собирать, так там кролик под нож жатки попал. – Он замолкает.

Она смотрит не на него – на реку.

– Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это как ночной кошмар.

– Это все, что я о том дне запомнил. Из всего лета.

Джейн опирается спиной о ствол ивы, чуть повернувшись к нему, откидывает голову. Темные очки она оставила в лодке. Чуть погодя она закрывает глаза. Он смотрит на ее лицо, ресницы, губы... на эту – такую серьезную – девушку, которая порой изображает возмутительницу спокойствия. Она тихонько произносит:

– На берегах спокойных вод...

– Вот именно.

И наступает молчание. Еще две лодки проходят по реке, возвращаясь в Оксфорд. Густеют облака; огромная перламутрово-серая дождевая туча горой надвигается с запада, из-за Кумнорских холмов, скрывая солнце. Он смотрит на небо.

– Тебе не холодно?

Она качает головой, не открывая глаз. Над ними рев: низко, под облаками – огромный американский бомбардировщик, «летающая крепость», медленно летит на запад, направляясь на базу в Брайз-Нортон. Может, Эндрю прав и там, в самолете, летит убийца? В бейсбольной кепочке, он не переставая жует резинку, вглядываясь в панель управления. Самолет уже ушел далеко, теперь это всего лишь черное пятнышко на небосклоне, когда Джейн вдруг произносит:

– Может, так и надо было. Чтоб именно мы ее нашли.

Он поворачивается к ней, видит, что глаза ее открыты и внимательно глядят на него.

– Как это?

– Ну, просто... То, как мы все жили эти три года. И какова реальность.

– Эти три года – самые замечательные в моей жизни.

– И в моей.

– Я ведь встретил Нелл... Тебя. Энтони. – Он разглядывает собственные ботинки. – И вообще...

– Какое отношение все это имеет к реальности?

– Я полагал, у нас договор: не лезть в метафизику.

Она на миг замолкает.

– Я тут Рабле перечитывала. Вчера вечером. «Fais ce que voudras»^[26].

– С каких пор это считается грехом?

– Возможно, то, чего мы хотим, вовсе не существует. И не может осуществиться. Никогда.

– Но мы же и правда делали то, что хотели. Хотя бы отчасти.

– Живя где-то... внутри литературы. Вроде Телемского аббатства. В мире, далеком от реальности.

Он тычет большим пальцем назад, за спину:

– Ты что, хочешь сказать, что *это* — реальность?.. Да бог ты мой, какая-то девка из Карфакса, которую подобрали...

– А тот твой кролик, что в жатку попал?

– Какое это к нам имеет отношение?

– А ты уверен, что не имеет?

– Конечно уверен. – Он коротко усмехается. – Энтони был бы возмущен до глубины души, если бы слышал, что ты такое говоришь.

– Так, может, это его беда, а не моя?

– Вот расскажу ему все, слово в слово.

Она ласково ему улыбается, потом низко наклоняет голову и говорит, уткнувшись лицом в укрытые крестьянской юбкой колени:

– Просто я очень боюсь, что эти три года окажутся самыми счастливыми в нашей жизни. Для всех четверых. Потому что мы любили, выросли, хорошо проводили время. Никакой ответственности. Театр. Игра.

– Но ведь время-то мы проводили хорошо.

Она подпирает подбородок руками, смотрит на него внимательно. Потом неожиданно поднимается, идет назад, туда, где лежит бутылка шампанского, поднимает ее за золотистое горлышко. Возвращается с бутылкой к Дэниелу и, опять совершенно неожиданно, размахивается и швыряет бутылку в реку. Всплеск; бутылка погружается в воду, потом на миг выскакивает на поверхность и погружается снова, теперь уже насовсем.

Он смотрит на девушку удивленно:

– Зачем ты это?

Глядя на реку, туда, где ушла под воду бутылка, она отвечает вопросом:

– Вы с Нелл собираетесь пожениться, а, Дэн?

Он вглядывается в ее застывшее лицо:

– С чего это ты вдруг решила поинтересоваться?

Она опускается на колени рядом с ним, отводит глаза.

– Просто так.

– А что, Нелл говорила, что не собираемся?

Она качает головой:

– Вы же все от нас скрываете, все у вас секреты да тайны.

– Ты хоть понимаешь, что ты – единственная девушка, кроме, разумеется, Нелл, с которой я отправился вдвоем на прогулку за последние полтора года? – Он легонько подталкивает ее локтем. – Ох, Джейн, дорогуша, ну ради бога... Хотя вы и сиротки заокеанские, и родные у вас далеко – по ту сторону Атлантики, нет нужды играть роль ужасно ответственной старшей сестры. Я хочу сказать, зачем же, по-твоему, я так упорно ищу работу здесь, в Оксфорде, на будущий год?

– Упрек принят. Прости, пожалуйста.

– Нелл вообще-то считает, что замужество и учеба на последних курсах – вещи несовместимые. Я с ней согласен. А официально объявлять о помолвке – это, извини... – Он умолкает, прикрывает глаза рукой. – Ох ты боже мой! Ну и ляп. Это же надо – ляпнуть такое!

– Ты считаешь, это *vieux jeu*?²

– Ох, господи.

– Да нет, по-честному?

– Ты прекрасно знаешь, что я хотел сказать.

– Что мы с Энтони – ненормальные?

– Да вовсе нет. Просто... Ну, что ты – не Нелл. А Энтони – не я.

Потупившись, она принимает его объяснение:

– Ясно.

Он внимательно изучает ее лицо, выпрямляется:

– Джейн, поэтому ты и придумала эту прогулку вдвоем?

– Более или менее.

– Ну и глупышка же ты!

– Просто курица-наседка.

– А Энтони знает?

– Он сам и предложил.

Дэниел отворачивается, насмешливо фыркает, разглядывая Кумнорские холмы.

– Теперь все ясно. Завтра он вернется и умыкнет Нелл. По-тихому. Паршивцы. Заговор обрученных.

– Обращаем язычников в свою веру.

– Я думаю, Энтони просто иначе не может. Но, должен признаться, о тебе я был лучшего мнения.

Она улыбается, а он добавляет:

– Хотел бы я знать, где *они* наткнутся на труп.

– Идиот.

Он некоторое время молчит.

– Ну раз уж мы о секретах да тайнах... ты сама *готова* к тому, чтобы он обратил тебя в католичество?

– Я еще не решила, Дэн.

² Старомодно (*фр.*).

– Жаль, ты моего отца не знала. На всю жизнь и думать о вере зареклась бы.

– Разве можно судить о вере по людям?

– А я все-таки надеюсь, что у Энтони ничего из этого не выйдет.

– Почему это?

Он смотрит за реку, на затянутый тучами западный склон неба.

– Ты просто не представляешь себе, что это такое. Даже Энтони не представляет. Каково это – постоянно жить в тени храма. Приходится столько всего скрывать, столько прятать; тот, кто не испытал такого на собственной шкуре, не поймет. Нереальность происходящего. Уход от жизни. Все равно как ты только что рассуждала об Оксфорде. Только много хуже. Без возможности хорошо проводить время. – Он не отрывает глаз от потемневших Кумнорских холмов. – Я мог бы стать кем угодно, но верующим христианином – никогда в жизни.

– Яркий выраженный эдипов комплекс!

Взгляды их встречаются; улыбка; потом оба опускают глаза: застенчивость так свойственна юным, недавно повзрослевшим, остро ощущающим все новое – новую ситуацию, вновь обретенное знание, неожиданное взаимопонимание... эти юные взрослые так погружены в себя, что слепы ко всему, кроме мгновений, несущих в себе ростки нового.

Дэниел смотрит на часы:

– Они уже должны были дозвониться. Пойду гляну.

Он выходит из-под ив на широкий луг, смотрит на восток, пытается различить вдали темные человеческие фигуры. Пару минут спустя она присоединяется к нему, тоже вглядывается в даль. Говорит, не поворачивая к нему головы:

– Я считаю, Нелл очень повезло, Дэн. Мне хотелось тебе это сказать.

– Не больше, чем Энтони.

Горло у нее перехватывает, она шепчет:

– Ох уж эти мне везунчики, так счастливо живут!

И прежде чем он успевает понять, почему в ее словах слышится такая грустная насмешка, она произносит обычным тоном:

– Смотри, вон они! – и указывает рукой.

В дальнем конце луга, гораздо южнее, чем они ожидали, из-за ив появляются пять человек: двое в полицейской форме, трое – в штатском. У каждого из тех, что в форме, через плечо перекинута болотная сапога. Еще один тащит свернутые носилки. У четвертого на ремне через плечо – большой черный ящик. Дэниел машет им, и один из полицейских спокойно поднимает руку ему в ответ.

Глядя, как пятеро движутся к ним через целое море лютиков, он спрашивает:

– Почему ты выбросила шампанское в реку?

Теперь он смотрит на нее, стоящую рядом. Она разглядывает траву у их ног.

– Мне подумалось, что так будет правильно.

Он обнимает ее за плечи и целует в висок.

– Зачем ты это сделал?

Он улыбается:

– По той же причине.

Непредвзятый взгляд

Это вовсе не то, что я обещала написать перед тем, как ты сбежал. И все же все это – чистая выдумка. Не иначе.

Про мистера Вольфа. Не про тебя. Это было в отеле «Кларидж»^[27]. Номер-люкс на втором этаже, весь забитый мебелью в стиле Людовика какого-то. Все шло не так уж плохо, может, оттого, что каждый из троих как-то перечеркивал другого, и – в порядке исключения – они могли на этот раз притвориться, что им нужна актриса, а не потенциальная развлекалочка – переспал и забыл. Я видела, что Дэн малость перепил, и впечатления он на меня не произвел. Скорее даже разочаровал. По сравнению со сценарием. Почти все время молчал, даже когда нас знакомили. Этакая утомленно-презрительная ухмылка (видимо, был здорово пьян, обычно он с людьми совсем незнакомыми так себя не ведет). Беседу поддерживали Билл и этот Голд. Я почувствовала, что Дэн пытается как-то от них отмежеваться. Тогда зачем он пришел? Кажется, мне тогда подумалось, что в нем есть что-то трагическое. Правда. Как в героях Хемингуэя. Или – как в том человеке из «У подножия вулкана»^[28]. Ну вы же видите, я опытный и мудрый и тонко чувствующий и настоящий мужчина и в литературе весьма начитан и совершенно растерян и гораздо выше всего этого потому что пьян.

Ужасно старомодный.

В какой-то момент я упомянула в разговоре, что играла в одной из его пьес. Мы играли ее целых две недели в Бирмингеме – как рекламную подготовку к сезону: пусть все видят, какая мы серьезная труппа; зато потом играли сплошь одну труху. И я сказала, что мне ужасно понравилось. На самом-то деле – вовсе нет, пьеса была из его самых слабых (теперь я это знаю, я ведь все его пьесы читала и перечитывала не раз), но надо же было что-то сказать. Я понимала, что Дэн не очень-то может повлиять на их решение, что пригласили его скорее просто из вежливости. Может, мне тогда уже было его жаль.

А он сказал:

– Прекрасно.

Только тут он показался мне интересным. Это «прекрасно» он произнес так, будто хотел сказать «глупая сучонка, да еще и с претензиями». Будто я пустышка, ничтожество из заштатного кабаре.

Тогда я сказала, чтоб напомнить ему, что я на порядок выше, чем выпускница какой-нибудь драмстудии:

– А еще мой руководитель в Суссексе был вашим поклонником. – (Он и правда как-то разок упомянул фамилию Дэна.)

Он только глазами повел в сторону тех двоих:

– Думаю, девочка и вправду хочет получить эту роль.

Они заулыбались, и мне пришлось улыбнуться им в ответ. Не улыбался только он сам и очень старался не встретиться со мной глазами, вот мерзавец.

Как-то, гораздо позже, он сказал мне:

– Знаешь, почему я столько времени трачу на то, чтобы диалоги были как можно лаконичнее? Терпеть не могу актеров.

Всегда утверждал о себе две вещи: он вовсе не драматург, ставший сценаристом. «Я пишу диалоги». Вот и все, что он делает. А один раз заявил: я только строю диалоги и исправляю то, что другие напортили. И еще как-то сказал: да в кино большинство актеров играть не умеют и научиться не могут. В этом и была моя вина в тот вечер.

Они уже успели посмотреть две мои старые роли, похоже, еще раньше остановили свой выбор на мне. Так что все это было не больше чем пустая проформа. А он потом говорил, что

в «Кларидже» был здорово пьян, а не «слегка» и поэтому ничего не помнит. Так что лучше ему это не переделывать.

Чуть выше среднего роста, волосы на концах уже начинают серебриться. Стрижка скорее под американца, стиль не английский. Этакий следящий за модой американский служащий довольно высокого ранга. Рядом с Биллом (буйные кудри и мексиканские усики) Дэн выглядел поблекшим и старомодным. В нем всегда было что-то такое из прошлого, тип мужской внешности, очень напоминающий герцога Виндзорского в молодости. Сердито-застенчивое выражение лица, поджарое тело – никакого жира. И очень хороший рот – лучшая его черта. Глаза слишком светлые и смотрят слишком напряженно, они мне не особенно нравятся, хотя в них иногда и появляется что-то такое... сексуальное. Какой-то вызов во взгляде, всегда чуть слишком пристальном. Когда ему надоедали и было скучно, он специально так смотрел, будто он не здесь, а где-то далеко и ему хочется, чтобы вы оказались еще дальше. Намеренная грубость, но со временем мне это стало нравиться, может, потому, что я научилась с этим справляться. Если грубость относилась ко мне, я шуткой его отвлекала. А если к кому-то другому, кто надоедал и мне, то эта его манера оказывалась даже полезной. Тем более что надоедали нам одни и те же люди. Если одно и то же кажется скучным обоим, вот тогда-то все и случается.

Только что перечитала последний абзац: слишком здесь все завязано на той первой встрече. Дэн получился какой-то слишком каменный, слишком статичный. На самом деле он двигался легко, вовсе не был неуклюж. Иногда мне даже хотелось, чтобы был: создавалось впечатление, что он специально учился, как не быть неуклюжим, владеть своим телом. В противоположность тому, как он относился к актерской игре. Обычно он выглядел чуть слишком воспитанным и любезным, всегда знающим, как себя вести (это – на публике). Такой много поездивший по свету, много повидавший на своем веку, такой светский и все прочее в том же роде. А с другой стороны (он это и сам знает), я терпеть не могу мужчин, которые не знают, как вести себя с гостиничной обслугой или в ресторане, с официантами... как жить, если на твою долю выпал успех и надо этому соответствовать. Думаю, если хорошо делать все, что в таких случаях требуется, неминуемо приходится играть некую роль.

Идеален для роли сопровождающего, как сказали бы в отделе рекламы.

Никак не доберусь до самой его сути. Это что-то находящееся в вечном движении, неуловимое, не полностью тебе доступное. Раньше я думала, все дело в возрасте, но тут что-то гораздо более существенное, чем когда он напяливает на себя личину строгого папаши или мудрого старого дядюшки, как это было, когда он впервые заговорил о женитьбе, там, в пустыне Мохаве^[29].

Когда я объяснила ему, почему нет, он снова помолодел. Абсурд. Надевает на себя чужие лица совершенно не в том порядке, в каком нужно. Если б он выглядел молодым, когда делал мне предложение, все могло бы обернуться совсем по-другому. Я как раз готова была влюбиться в него (или – в собственное представление о нем), почти уже совсем потеряла голову, понимала, что разговор об этом зайдет, и знала, что ответ явится вовсе не как результат заранее принятого решения, стоит только ему выбрать нужный момент. Следуя интуиции, выбрать нужное место, время и настроение. Сценарий он никогда бы так безнадежно не завалил.

И не просто в вечном движении. Какая-то замкнутая система. Все строго спланировано и компактно, как его почерк. Как хороший кожаный чемодан в зале аэропорта, тщательно запечатый и ожидающий отправки, только вот место назначения на ярлыке никак не разобрать. Или, если удастся подойти поближе и все-таки разобрать, оказывается, место это на противоположном краю света и ты о таком никогда и слыхом не слыхала. Поначалу я сочла эту его особенность весьма привлекательной. Что не можешь его до конца прочесть, понять, что, разумеется, означает, что ты с самого начала знаешь – это не может длиться долго, он тут лишь мимоходом. Понимаешь, что он на самом деле в разводе со всем и вся (а не только в буквальном смысле). Без дома, постоянно – посреди Атлантики или на другом ее берегу, хоть и пытается

оставаться англичанином, сохранить акцент и манеру выражать свои мысли по-английски, всегда как бы ставя в кавычки попадающиеся в его речи американизмы; да еще этот его поразительный занюханный патриотизм... я порой думала, его отношение к собственной стране сильно отдает рекламой «Посетите Британию!»: как хорошо посидеть с картинными старыми болтунами в деревенском пабе с дубовыми балками под потолком, опрокинуть по кружке эля. Я по-подлому издевалась над ним за это, ехидная стервочка образца семидесятых: если он так обожает свою Англию, с чего это он здесь обосновался?

Вот на этом мы так никогда и не сошлись. Я ведь не из деревни (и слава богу, добавляет она) и никогда ее не любила. Его возмутило, что я с ходу не запрезирала Лос-Анджелес. Не захотела немедленно вернуться в эту паршивую пустыню Мохаве.

И еще – Тсанкави. О господи! Но об этом я сейчас не могу.

Помню один день, в самом начале, то есть это, собственно, была ночь, он впервые заговорил о своем загородном пристанище, там, дома. Все время, пока он его описывал – пейзажи, Девон, природу и животный мир, – рассказывал о своем детстве, мол, именно поэтому Торнкум столько для него значит, я ощущала за всем этим что-то другое. На самом-то деле ему вовсе не так этот дом нужен, как повод говорить обо всем этом. Он там практически и не живет никогда, это что-то вроде хобби, вещичка, которую он приобрел по дороге, отыскивая путь к себе самому, настоящему. О чем он и сам, разумеется, знает; или, пожалуй, – поскольку он боится показать, что не хочет видеть собственных парадоксов, как хороший шахматист боится подставить ферзя, – он полагает, что знает. Он сам так сказал, когда мы говорили о «Гражданине Кейне»^[30] (он вполне может это поправить, если я что-нибудь не так поняла); говорил, какой мастерской уловкой оказался символизм «Розового бутона»^[31] и что наихудшим выражением продажности продажных создателей продажного искусства оказалось представление, что чистоту и невинность можно вернуть, *купив за деньги*. Все равно как пожертвования местному священнику от мафии: словно это могло бы спасти жертвователя, если бы Спаситель действительно существовал и действительно вершил свой суд. Я не могла тогда признаться ему, что не понимаю, каким образом объективное отношение к собственной псевдоферме должно способствовать отпущению его собственных грехов.

Но из-за этого он вовсе не стал мне меньше нравиться. Он так и не понял, что способность совершать ошибки не делает человека уродом.

А еще он сказал, что отец его был приходским священником. (Я тогда не догадывалась, что его «Опустевший храм» автобиографичен.) А я рассмеялась. Просто не могла в это поверить. И так по-настоящему и не верила, пока мы не отправились на машине в Маринленд и не попали в пробку на шоссе. Он стал петь псалмы. Дурачась, высмеивая всю эту религиозную чепуху. Но он столько их помнил! В тот момент я очень его любила. С ним порой бывало здорово интересно.

Так что эта его замкнутая система на поверку просто симптом его неспособности соотносить себя с чем бы то ни было, кроме *места*, с которым ему не приходится соотносить себя иначе чем посредством слова, да и то лишь после нескольких порций «Деттола»^[32]. Мне так и не удалось продвинуться в разгадывании его тайн дальше этой. Я имею в виду настоящие тайны. Отношения с Кэрлайн, например. Отвратительно было слышать, как он о ней говорит (до того, как я ему напрямик об этом сказала): не открыто, всеми буквами, но тон такой небрежно-презрительный, будто разговор о бездарной секретарше, от которой он не может отделаться там, в Англии, а ведь она – его дочь. Ну ладно, ясно, ее мамаша девочку испортила, внушила ей взгляды, которые для него неприемлемы. Но ведь это же ежику понятно, что на самом деле он до смерти обижен, что ему больно... и не только из-за прошлого, из-за того, что она потеряна для него, но еще и потому, что он привязан ко мне, а я ему в дочери гожусь, получается что-то вроде инцеста (а кем он иногда был для меня, об этом он не подумал?), и ему это и неприятно, и в то же время нравится.

Ну и весь этот мрак по поводу его распавшегося брака. Я и пытаться перестала – все равно ничего не распутать. И другие женщины в его жизни. Прямо гротеск какой-то, так он выкручивается, если я сую свой нос в эти его дела. Будто это может меня обидеть, будто такое прошлое может сделать мужчину менее привлекательным. Напрасно я сравнила его с элегантным кожаным чемоданом. По правде, он больше похож на старый, лопнувший сверток, перевязанный рваной бечевкой с тыщей дурацких узлов. Все, что есть во мне шотландского, просто на дыбы от возмущения встает.

Все это пришло мне в голову в тот странный последний вечер (разумеется, провидческий дар от бабки – сплошная чепуха, но знаешь, Дэн, поразительно, только я и вправду чувствовала: что-то должно с нами случиться). Когда ты, то есть он, заговорил о пропастях. А я сказала ему, что он имеет в виду баррикады. Очень надеюсь, он подумает об этом всерьез, если когда-нибудь прочтет то, что я написала.

Я все снижаю и снижаю образ, но на самом деле это нас просто приравнивает друг к другу. Раньше я никогда так ясно не представляла себе, что «старый» ум – это тот же «молодой» ум, только в пожилом теле. (Ой, это зло сказано, я имела в виду в теле, которое уже не так молодо.) Все чаще и чаще наступали периоды, когда я сама себе казалась гораздо старше. Я *была* старше. Когда раздался тот необыкновенный звонок, он был словно ребенок, словно маленький мальчик: испуган и взволнован – и старался скрыть оба этих чувства, притворяясь умудренным и «зрелым». Кто-то и вправду на самом деле, да господи, просто реально нуждался в нем. И он понял, что свободен, – я это почувствовала. И очень рассердилась, но мне удалось это скрыть. Не потому, что он решил уехать, а из-за того, что втянул меня в эту историю. Использовал как предлог. Не понимаю, почему меня так огорчает, что я иногда использовала *его*. Я-то, по крайней мере, этого никогда не скрывала.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю: все, что произошло, во всяком случае что-то вроде этого, было просто неизбежно. После того как я порвала с Тимом и пустилась во все тяжкие, оно просто висело в воздухе. В конце концов должен был появиться кто-то вроде Дэна. Этот элемент я и привнесла в наши отношения с самого начала (хотя расчета тут не было никакого; я только хочу сказать, что он, помимо всего, научил меня быть честнее). Так должно было случиться. В этом было что-то вроде диалектической неизбежности, все и должно было в один прекрасный день перерасти во что-то иное. Это самое «*поэтому*» всегда витало над нами. Превращая все в некий этап, в ступень – в обоих смыслах слова.

Гарольд – это было еще в Бирмингеме – очень четко мне все разъяснил. Он сказал: «Все хорошие актрисы – шлюхи. Потому что, помимо нормальной потребности в эксперименте, в приобретении опыта, наш профессиональный долг – экспериментировать, чтобы приобретать опыт». Я сознавала, что это так, задолго до Дэна. Особенно четко – когда порвала с Тимоти. Даже в самые тяжкие моменты, когда мы скандалили и орали друг на друга, скрытая ото всех где-то на задворках моего сознания крохотная куколка Дженни сидела спокойненько, слизывая сливки. Моя первая роль в кино была полна таких сливок, если уж быть до конца откровенной.

В Лос-Анджелесе Дэн явился в аэропорт меня встретить. С этой женщиной из рекламного отдела студии, с ее фотографом и с букетом роз в целлофане. И заявил, что пришел лишь потому, что Билл занят: он просто его заменяет. И все испортил. Правда, не очень. Но он был трезв, сух и вел себя по-отечески. Совсем иначе, чем тогда в «Кларидже». А когда мы наконец очутились в лимузине и помчались в страну гамбургеров и жаренной соломкой картошки, он рассказал, как он сам впервые сюда приехал – много лет назад – и его никто не встречал. И это чувство – абсолютной чужеродности и растерянности. Увидел, что я смотрю на один из множества одноногих рекламных щитов с абсурдной гигантской барабанщицей, медленно вращающейся на самой его верхушке, и говорит: «Вам придется решить для себя одну очень важную вещь – *что* на самом деле реально, вы или Лос-Анджелес. Согласны?»

Я сказала: «Согласна».

Это стало моей мантрой. Это был самый лучший, самый замечательный из всех его подарков. «Лос-Анджелес» – это ведь может быть где угодно.

Я совершенно рассыпалась на куски, и в гостинице меня заставили сразу же отправиться в постель. Следующий день у меня был свободный – день отдыха перед встречей с рекламщиками, примеркой костюмов и всякого такого. И еще мне дали список адресов – посмотреть квартиры. Я еще раньше решила, что жить в снятой квартире – это все равно как в мебелированных во время гастролей. Жестянка с кофе, бутылка с очистителем, чайник... Пожалуй, это то, что надо. Женщина из рекламного отдела обещала повозить меня посмотреть квартиры, но Дэн предложил заодно поехать по городу, посмотреть самые интересные места. Думаю, он по выражению моего лица понял – эта дама мне вовсе не по вкусу. Я ее просто испугалась, такая она деловая, строящая собственную карьеру и собственную внешность, такой у нее тщательно продуманный, журнально-обложечный шарм.

Он заехал за мной на следующее утро, в десять. А мне не удалось выспаться: я все вставала, глядела в окно. Так вот она, Америка. Вот оно – это место, вон внизу, за окном, знаменитый Сансет-бульвар. Девять десятых моего существа все еще оставались в Лондоне, в моем любимом крохотном Белсайз-парке. Мне было страшно; хорошо, что Дэн будет здесь утром, хорошо, что взялся сопровождать меня в поездке по городу. Он ждал внизу, в баре, читал вчерашний лондонский «Таймс», прихлебывая кофе. Такой спокойный, вселяющий уверенность. Я даже на какой-то момент почувствовала себя просто туристкой, с удовольствием предвкушающей массу интересного. Но всего оказалось слишком много. Мы посмотрели слишком много квартир на слишком большом расстоянии друг от друга, и я опять запаниковала и стала полагаться больше на интуицию, чем на здравый смысл. А он был предельно терпелив и нейтрален. Как агент по продаже недвижимости с богатым клиентом: ему скучно и надоело, но он должен это скрывать... А потом мне подумалось, он просто исподтишка наблюдает за мной, решает, гожусь ли я для этой роли на самом деле или нет, и обозлилась, что он в этом не уверен. Позже он скажет, что ему тогда понравилась моя «переборчивость» – так он это назвал. Ему просто было любопытно «с антропологической точки зрения». А «с постельной точки зрения» я тогда о нем и не думала. Впрочем, нет. Был один момент в какой-то кошмарной спальне, где мы оба стояли. И я сразу его зачеркнула. Он попытался отговорить меня снимать квартиру, которую я в конце концов согласилась снять. Но мне вид ужасно понравился. К тому моменту я уже поняла, что не смогу найти ни такой формы комнат, ни такого стиля мебель, с какими могла бы счастливо сосуществовать. Поэтому решила снять вид из окон. Мы вернулись в отель к позднему ленчу. Он предложил еще повозить меня по городу. Но мне уже хотелось от него поскорее отделаться. Ушла к себе и легла спать.

Вечером из Нью-Йорка вернулся Билл, и они втроем – Билл с женой и Дэн – повели меня обедать. Намечено было познакомить меня со Стивом, но он так и не появился, хотя предполагалось, что он прилетит тем же самолетом, что и Билл. Билл извинялся за него, даже малость переборщил с извинениями. А Стив был очень занят: баб трахал, разумеется (это он сам поспешил объяснить мне, как только мы с ним встретились на следующий день). Все в том же стиле, как и райские птички, что он прислал мне в номер с запиской («В восторге от возможности поработать с Вами. Стив»). Они ждали там моего приезда вместе с целым цветочным магазином: от отеля, от Билла, от этого Голда, от студии... а от Дэна, между прочим, – нет. Все карточки надписаны одной и той же рукой. Когда я поблагодарила Стива за цветы и записку, он лишь руками развел – отвратительное актерство, игра – хуже не придумаешь. Вроде он и не знает, о чем это я толкую.

Но я к тому времени уже всякого о нем понаслушалась. В тот вечер, за обедом, Билл и Дэн выпили достаточно, чтобы языки у них развязались, и говорили открыто и резко. Я впервые услышала, что Стив вовсе не ими выбран, это Голд им его навязал – ради кассового успеха.

– У Стива есть кое-какие пунктики, – сказал Билл.

– Да хмырь он самовлюбленный, и все тут, – сказал Дэн.

– Я его обуздаю, – сказал Билл. – А так-то у него все на месте.

И тут Дэн мне улыбнулся и еле заметно подмигнул, отчасти из-за этого неловкого «все на месте», но было в улыбке еще что-то, очень милое. Нежное и грустно-ироническое одновременно, и что-то такое очень простое и очень английское вдруг установилось между нами в этой отвратительной, безвкусно-роскошной едальне. Союз. И эта улыбка говорила, что он решил для себя: я ему нравлюсь и мы сумеем найти способ справиться с этим Хмырем. Не сумели. Но дело не в этом.

И началось: знакомство с Хмырем, стычки из-за костюмов, кошмар прослушиваний, бесконечные перезаписи, споры, ссоры. Попытки заставить этого Х понять, что я пока еще не готова дать ему прямо тут, на площадке, но все равно спасибо большое. Провела с ним, как положено, один кошмарный вечер наедине – с ним и его «пунктиками», о господи; ну, как Дэн сказал бы, «с антропологической точки зрения» это было даже интересно, все эти «пунктики» у него кажутся хорошо продуманными, вполне вписываются в образ, да еще к тому же он до смешного рядится в политически правильные одежды, по поводу Вьетнама и всего остального – сплошь о'кей. А я была ужасно строга, типичная англичанка, возмущалась всякими его грязными клише. Из него получился бы прекрасный жиголо или пляжный соблазнитель. И это еще пытается сойти за мыслящего актера. С неотразимым пенисом в придачу. Позволила ему меня поцеловать на прощанье. Убила в зародыше все его попытки поработать руками. И надежду на повторение.

Все происходившее шло на противоестественном (для меня, во всяком случае) фоне штата Калифорния.

Разумеется, я прекрасно понимала, что моя будущая карьера (хоть и покрыта тайной неизвестности) вовсе не целиком зависит от этого фильма – Дэну ни к чему было мне это объяснять. Но что-то вроде культурного шока я тогда все-таки пережила. Я не смогла сказать Х., что я на самом деле о нем думаю, как сделала бы дома, в Англии. Надо было заставить его помогать мне – хотя бы немного – в любовных сценах, которые нам предстояло снимать. И еще этот невыносимый синтетический глянец на всех, кого я встречала в этом новом для меня мире (не забудь: я тогда еще не познакомилась с Эйбом и Милдред), постоянные махинации, сплетни, стремление что-то уцепить, что-то организовать... хочешь жить – умей вертеться... словно множество крохотных зубчатых колесиков в пластиковых настольных часах, которые все равно не способны показывать реальное время. Будто здесь ничто никогда не останавливается, надо все время что-то делать, что-то планировать, что-то «значительное» произносить. Это было как иностранный язык, говорить на котором я не умею (я не имею в виду американский английский, даже не киобизнесный его вариант, принятый на студии), но должна постоянно прислушиваться, потому что улавливаю смысл. Все эти занудные вечера с людьми, встречаться с которыми не захочешь больше никогда в жизни. Это даже хуже, чем встречи со зрителями. Чувствуешь, что тебя затягивает в этот повсеместный глянец, в синтетику, в мелочное осознание собственной значительности... из-за этого мне так хотелось домой, в Англию, к людям, которые делают свое дело спокойно и естественно, а не из желания «быть в струе» – казаться знатоками новейших тенденций и моды. Хотелось неспешных бесед, где можно плыть по течению, проводить целые часы, перескакивая с одного на другое, где разговор вдруг затухает и наступает молчание; где можно не верить сказанному и не ждать, что обязательно поверят тебе, ибо все это – игра. Словом, все, что ты потом объяснил мне про то, как использовали язык раньше и как – теперь. О том, как выдают – и предают – человека попытки казаться «значительным».

Пардон. Это Дэн все мне объяснил.

Из-за этого я с таким нетерпением ждала вечера в его обществе (мне в большей степени нужна была беседа, чем сам Дэн). Он очень осторожно предложил встретиться – устроить вечер

англичан-изгоев, – только он и я, больше никого. Контакт между нами несколько нарушился после того первого дня. Дэн присутствовал на читках сценария, и профессионально он меня просто восхищал. Х. вечно вылезал с «лучшими» (более короткими) вариантами реплик или предлагал снять реплику вообще, так как он сможет передать смысл каким-нибудь невероятным трюком под Брандо^[33] (ох ты боже мой!), только у него это никак не получалось, а объяснить он и подавно ничего не мог. Должно быть, Билл с Дэном заранее сговорились, как с этим справляться. Билл выслушивал сочувственно, с интересом, а Дэн под конец сбивал с него спесь. Думаю, они были правы, с ним иначе нельзя. Но времени это требовало уйму. В результате Х. настроился против Дэна и против сценария вообще и попробовал заручиться моей поддержкой. А я сидела тихо как мышка, пока они пары пускали, и думала, насколько проще со всей этой чертовой петрушкой обходятся у нас дома.

Итак, наш вечер. Мы поехали назад, за холмы, в долину Сан-Фернандо, в какой-то бредовый русский ресторанчик, где еду подавали крохотными порциями, с немислимыми паузами, и вроде бы вовсе не то, что, как нам казалось, мы заказывали, но все было замечательно вкусно. Я незаметно выкачивала из него информацию о его прошлом. Узнала, что он разведен; одна дочь – всего-то на три года моложе меня, и – стоп: дальше посторонним вход воспрещен. Но о его карьере, о пьесах, о том, почему он их больше не пишет, о кино, об Америке... он говорил много, я отвечала тем же – и он слушал, даже тогда, когда я принялась выкладывать ему собственные наивные соображения о Калифорнии. И я поняла – мы работаем на одной волне, раньше я в этом сомневалась. Он поднялся ко мне – выпить рюмочку на ночь; через десять минут поцеловал меня в щечку – как клюнул – и исчез. А я и хотела, чтобы он ушел. Я вовсе не хочу сказать, что вечер не удался: все было замечательно, и мне стало намного легче.

Начались съемки, выезды на места, и я с ним почти не встречалась. Время от времени он возникал то там, то тут – очень редко: он уже начал работу над сценарием о Китченере^[34]. А потом он появился надолго, когда снимали серию сцен в Малибу, и между съемками мы с ним поговорили. Я уже пускала пары от злости: им всем столько времени требовалось, чтобы все установить как следует, и Билл никак не мог успокоиться, пока не снимет на три дубля больше, чем надо. После съемок меня обычно отвозили прямо домой, и я уже никуда не выходила, отправлялась в постель в одиннадцать, а то и в десять: образцовая молодая актриса. Но по сравнению с необходимостью одеваться к выходу, становиться объектом сексуальных притязаний и при этом испытывать смертельную скуку... я стала отказываться от всех и всяческих приглашений. Билл с женой – как положено по протоколу – пригласили меня пообедать с ними, вот, кажется, и все за целую неделю. Странно, но мне это нравилось. Готовила то немного, что успевала (запиской) поручить Марте купить, когда та приходила убирать квартиру. А то – иногда – попрошу шофера студийной машины остановиться у магазина вкусной и здоровой пищи или у деликатесов. Немножко повожусь на кухне, посмотрю идиотскую программу по ТВ. Почитаю. Напишу домой – словно школьница. Это все Дэн виноват. Слишком усердно пыталась доказать себе, что нереальна Калифорния, а не я.

Кое-что из этого (кроме последнего кусочка) я неожиданно поведала Дэну между съемками в Малибу. Мы шлепали босиком по воде, как пожилые отдыхающие в Саутенде^[35]. Фотограф съемочной группы сделал снимок, я его сохранила. Мы оба смотрим на море у наших ног. Думаю, я пыталась убедить его, что моя англо-шотландская сущность сильнее этой чуждой мне культуры. И что – честно-честно – я совсем не чувствую себя здесь одинокой. Разумеется, я ему позвоню, если... и вдруг до меня дошло, что я таки *чувствую* себя одинокой. Вот тут и рассыпалась на куски иллюзия гастрольных меблирашек, да и в квартире со мной не было еще одной актрисы, с кем не просто можно, а надо было бы хоть словом перекинуться. Меня словно закупорили в полном одиночестве, вот отчего я писала так много писем. Мне просто необходимо было с кем-то разговаривать, не более того. С мужиками я завязала и прекрасно чувствовала себя в (кратковременной) роли монашенки.

Говорю ему:

– Обнаружила потрясающий магазин вкусной и здоровой пищи.

Он посмотрел искоса:

– Дженни? Это что – приглашение?

А я и не думала вовсе его приглашать. Но вдруг подумала.

– Прямо сегодня? Если пообещаю уйти ровно в десять?

Сказав «да», я уже понимала, что должна кое-что решить для себя...

Все это было так сдержанно, так непреднамеренно, оставлено пространство для отступления – с обеих сторон. Но я знала – «проверочка» обязательно будет. Я много думала над этим, то есть над той его чертой, которой я еще не касалась. Ведь Дэн довольно знаменит. С другой стороны, он прекрасно понимает, что – по высшему счету – он так и не добился успеха, что пьесы его на самом деле довольно плоски и что в театральном мире нового – моего – поколения есть с десяток писателей гораздо интереснее для нас, гораздо ближе «духовно», чем он... он это и сам знает, хотя данная тема всегда была для нас с ним табу. Он заключил, что я презираю его деятельность «на театре» или в лучшем случае проявляю всего лишь терпимость. А я, видимо, слишком поспешно заключила, что ему это безразлично. Ну и еще одно: то, что я (по-глупому) всегда довольно наплевательски относилась к газетной славе моих возлюбленных. Считала – довольно долго, – что это не очень-то полезно. Вроде бы достаточно и того, что я отдаю им свое восхитительное тело и столь же восхитительную душу в придачу, а тут еще вырезки из газет надо собирать.

Конечно, без тщеславия здесь не обошлось. Дарила им привилегию – спать с Дженни Макнил – в обмен на привилегию презирать их за то, что они-то не добились успеха; именно это Тимоти и сказал мне однажды. И страшно меня возмутил, ведь я была совершенно уверена в собственной демократичности: разве то, что я с ним живу, этого не доказывает?.. И ведь я прекрасно вижу, чего стоит вся эта шумиха; может, я и восходящая звезда, но мои ноги прочно стоят на земле. Ну, конечно, был еще и страх: боялась, как маленькая девчонка, что в одно прекрасное утро все это лопнет словно мыльный пузырь, так что лучше уж не очень рисковать. Но это, другое, тоже очень важно. Я чувствовала себя спокойнее, если было в моих возлюбленных что-то такое, за что я могла их презирать. Не могу сказать, что тут имелся политический оттенок, и оправдать себя тем, что разделяю идеи «Движения за освобождение женщин». Корни гораздо глубже, произрастают из отвратительно мелочной эгоцентрической боязни лишнего беспокойства, необходимости принять чей-то вызов, соревноваться. Низводила до равноправия.

Я часто думала над этим после приезда в Калифорнию. Может, Дэну будет неприятно, но это сыграло свою роль. Он не был *слишком* знаменит и не так уж *сильно* нравился мне как писатель. Просто достаточно знаменит и уважаем, и, следовательно, я все-таки могла слегка его презирать, в то же время сознавая, что он весьма далек от того, чтобы вовсе ничего не значить. Вполне возможно, он уже начинал терять высоту, в то время как я только начинала ее набирать, но в тот момент его успех, опытность, всеобщее уважение в профессиональных кругах да и все остальное весьма значительно перетягивали чашу весов на его сторону. Если у меня и были преимущества, так только физические.

Все это звучит слишком расчетливо. Я все время меняла свое решение на его счет. (Или – насчет *этого*.) Весь тот день. Работала, а думала об этом. Но, если *честно*, были еще и другие, более простые вещи. Хотелось узнать его получше; думалось и о том, что вот, мол, натяну Хмырю нос; была возбуждена – физически и эмоционально. Думаю, Дэн для меня и был чем-то вроде вызова. Помню, принимая душ перед его приходом, внимательно разглядывала себя – нагую – в зеркале. Странное было чувство. Что я – не знаю. Раньше я всегда знала.

Потом, уже гораздо позже, в тот же вечер – после одиннадцати, мне так хотелось, чтобы он сделал первый шаг. Он выкачивал из меня информацию о моем прошлом гораздо успешнее,

чем это делала я в тот наш с ним «русский» вечер. Думаю, «Кошки»^[36] правы: человеку нужно регулярно исповедоваться. Это как менструация. Он к тому же вытянул из меня все, что я на самом деле думаю о фильме, о Билле, о Хмыре (мы оба в тот вечер решили так Стива и называть). Ну, словом, все. И про то, что я никогда толком не знаю, чего Билл действительно от меня хочет, или какие идиотские импровизации Х предпримет в следующей сцене, и почему Билл вечно ему это спускает. Дэн был ужасно мил: говорил о «потоках»^[37], которые мне не разрешалось просматривать, о том, что все у меня прекрасно получается. Даже этот вечный пессимист Голд доволен. Но больше всего меня вдохновило то, что – как я поняла – я и перед самим Дэном экзамен выдержала.

Наконец беседа стала иссякать; вроде бы я намекала, что ему пора уйти, но так получалось просто потому, что я не знала, как дать ему понять, что этого делать не надо.

И настала фантастическая тишина. Казалось, она тянется уже целую вечность. Он лежал на диване, положив ноги на валик и уставившись в потолок. Я сидела спиной к стене на коврик рядом с местом, где горели поленья, – «камин» слишком старое и милое сердцу слово, чтобы это можно было так назвать, – и разглядывала пальцы собственных босых ног. На мне была длинная юбка, простая блузка и никакого бюстгалтера. Никакого грима. А он пришел в блейзере, с фуляровым шейным платком – такой старательно неофициальный, как принарядившийся анджелино^[38]. Но блейзер он снял. Голубая рубашка в цветочек.

Он говорит:

– Если бы это был сценарий, я заставил бы мужчину встать и уйти. Или женщину встать и подойти к нему. Мы зря тратим пленку.

Повернул голову, не поднимаясь с дивана, и посмотрел на меня.

Мне не понравилось, как он это сказал – таким фатоватым тоном. Смотрел на меня без улыбки. И я ему не улыбнулась. Потом снова уставилась на собственные ноги. Он поднялся, взял со стула свой блейзер и ушел. Вот так, просто взял и ушел. Не говоря ни слова. Ни тебе «спокойной ночи», ни даже «спасибо за обед». Дверь закрылась, а я так и осталась там сидеть. Извращение какое-то: он мог бы получше себя вести, и ведь я не хотела, чтобы он уходил.

Но он ушел. Я услышала, как входная дверь открылась, потом захлопнулась. И – тишина. Я бросилась вслед... не знаю зачем, ну хоть сказать что-нибудь. А он стоит... *внутри* и смотрит в пол. Трюк, старый как мир.

Я вернулась в комнату, он – за мной, гася по дороге свет. Помню – обнял меня сзади за талию и поцеловал в затылок.

Я говорю:

– Дэн, я сейчас не принимаю контрацептивов. Вот в чем дело.

– Не проблема. Если дело только в этом.

Я взяла его руки в свои и сказала:

– Не хотела, чтобы вы ушли.

Он стал расстегивать на мне блузку, раздевал меня, не целуя больше после того первого прикосновения. Потом разделся сам; а я все еще чувствовала себя странно, стояла неподвижно, глядя на огни за окном, уходящие к океану, прислушиваясь к шуму машин на шоссе там, внизу, а в голове бродили, мелькали какие-то странные расплывчатые обрывки мыслей, такое бывает, когда вдруг поймешь – вот оно: все совсем новое новый человек где эта комната кто я и где какое кому дело зачем и почему...

Подождал, обнял за плечи и повел к дивану. Мы лежали бок о бок, он провел рукой по моему телу, глядя внимательно. Вроде ждал, что я вздрогну, отстранюсь. Будто это для меня впервые. Сказал:

– Мне всю неделю так хотелось тебе позвонить.

Я ответила:

– Жаль, что не позвонил.

Тут мы поцеловались. Все было просто, я была пассивна, просто подчинялась ему, никаких игр не устраивала. Отвечала на его ласки так, чтобы он чувствовал: я хочу, чтобы все было так, как он хочет, хотя полной уверенности в том, что он нужен мне именно для этого, у меня не было, – впрочем, и против этого я ничего не имела. Во всяком случае, в первый раз всегда очень трудно быть естественной, все отмечаешь про себя, сравниваешь, вспоминаешь, ждешь... Потом он улегся на полу, а я стала думать о дне завтрашнем. О том, что снова увижусь с ним, после всего. О его теле. Счастливые мужики – так у них все просто устроено. Он ничего не сказал. Оба мы ничего не говорили. Довольно долго. Лежали молча. Так бывает иногда после фильма: выходишь из зала и не хочется ничего говорить. Я думала: как мало я о нем знаю. Интересно – часто он это делает? Сплетен о нем на нашей студии практически не было. Интересно, что он на самом деле обо мне думает? О его возрасте, о его прошлом, о моем возрасте, о моем прошлом... Он сам нарушил молчание. Только сначала протянул руку и коснулся пальцами моего рта – словно очертил линию губ.

– Дженни, на арго этой варварской провинции то, что я только что совершил, называется «трахнуть бабца». Единственный способ избавиться от этого арго – сломать ритуал, ему сопутствующий. По ритуалу, я должен сейчас поблагодарить тебя за «клёвый перетрах», одеться и поехать к себе. Но я хочу сейчас уложить тебя спать, лечь рядом и тоже спать – просто спать рядом с тобой. И поцеловать тебя утром. Приготовить тебе кофе, когда тебя вызовут на студию. А если завтра ты поймешь, что это все – ошибка, что ж, прекрасно. Я просто хочу, чтобы сейчас мы вели себя по-человечески, по-европейски. Не как человекообразные на этой кинопланете.

Он лежал опершись на локоть, внимательно на меня смотрел. Я ответила:

– Уже завтра. И я с тобой.

Он поцеловал мне руку.

– Ладно. Тогда – еще одна речь. За свою долгую жизнь я влюблялся не один раз и хорошо знаю симптомы. Они отличаются от тех, что сопутствуют «траханью бабцов». Но любовь – болезнь моего поколения. Несвойственная вашему. Я не жду, что ты в какой-то момент можешь подхватить от меня эту болезнь.

– Это просьба или предсказание?

– И то и другое.

Так все и началось. Мы легли спать. Не спали. Есть что-то такое в собственной постели – ощущение, что тут ты на своем месте. И то, как он меня обнял и прижал к себе. И то, как я думала о его словах и как не надо было ему их произносить, потому что они звучали даже оскорбительно, подразумевалось, что я могла оказаться таким «бабцом», готовым на одноразовый перепих, и еще – что я слишком молода и неглубока и слишком «семидесятница», чтобы понимать, что такое любовь. И в любом случае все прозвучало ужасно назидательно. Но это еще означало, что он вовсе не такой хладнокровный и гораздо более уязвим, чем мне казалось. И стержневое чувство: я нужна этому папику! В его-то годы, после всех его женщин. И вдруг я сама почувствовала, что он нужен мне, что он мне по-настоящему желанен. И я повернулась к нему и сказала «да!».

(Продолжение следует. Час тридцать ночи. Я сошла с ума.)

Калитка в стене

– Дэниел? Это Нелл.

– Кто?

– Твоя бывшая жена.

Он резко убирает руку с плеча Дженни.

– Каро?

– У нее все прекрасно. – Молчание. – Извини за звонок в такой несусветный час. Мы не сумели справиться с разницей во времени.

– Я еще не лег. Так что это не важно.

– Я звоню из-за Энтони, Дэн.

– О боже. Что, все кончено?

– Нет, просто... кстати, я тут у Джейн, в Оксфорде. Она хочет с тобой поговорить. – (Он не отвечает.) – Ты слушаешь?

– Просто на некоторое время утратил дар речи.

– Она все тебе объяснит. Передаю трубку.

Он смотрит на Дженни, прикладывает свободную руку к виску – пистолетом. Она с минуту не сводит с него глаз: теперь она уже не смеется, потом опускает взгляд и отворачивается от него. Смотрит куда-то в центр комнаты.

– Дэн?

– Да, Джейн!

В его голосе – странное смещение чувств: теплота и обида, но прежде всего – невозможность поверить в происходящее. В трубке – короткая пауза.

– Мне ужасно неловко так беспокоить тебя. Как гром с ясного неба. – Снова пауза. На этот раз подольше. – Ты меня слышишь?

– Дело в том, что уж тебя-то услышать я никак не...

– Извини. Так мило было с твоей стороны передать весточку через Каро.

– Мне очень жаль, что все это так затянулось.

Он ждет, что она ответит на это. Но она опять молчит. Он словно в ловушке меж двумя прошлыми: тем, что только что подошло к концу и еще присутствует тут, в этой комнате, и совсем далеким; меж двумя вещами, которых страшится больше всего, – чувством и безрассудством.

– Как он?

– Он теперь в больнице. Здесь, в Оксфорде.

– Такая беда для всех вас.

– Мы уже научились жить с этим.

Снова молчание, и он отчаянно пытается сообразить, зачем на него свалилось все это.

– Может быть, существуют какие-то формы лечения здесь, в Америке, и нужно, чтобы я...

– Боюсь, уже слишком поздно. Ему уже никто ничем помочь не может. – Снова пауза. – Дэн, я целую неделю набираюсь смелости тебе позвонить. Не знаю даже, как это сказать, после всего, что произошло. – Она опять замолкает. Потом решается: – Он хочет повидать тебя перед смертью.

– Повидать меня?

– Страшно сказать, но это так. Очень хочет. Отчаянно. – Она спешит добавить: – Он тяжело болен. Но голова совершенно ясная.

Он чувствует себя как человек, неожиданно ощутивший под ногой вместо мощеного тротуара бездонную пропасть.

– Джейн, ты же знаешь, я сочувствую от всей души, но... Я хочу сказать, все это так... – Теперь его черед искать спасения в молчании. Он делает над собой усилие, чтобы в голосе не так явно звучало требование избавить его от всего этого. – Вы оба были тогда правы. Господи, да я же давно все вам простил. Скажи ему об этом сама. – Она ничего не отвечает, и он вынужден спросить: – Ведь речь об этом?

– Да... Отчасти.

– Ты же понимаешь. Я от всего сердца. Полное отпущение. Насколько это от меня зависит.

– Он специально просил меня сказать – это... дело между вами не закончено.

– Но, моя дорогая, я... Ну, я имею в виду... Не можешь ли ты сама ему сказать? Пусть просто примет это на веру.

– Это не каприз, Дэн. Иначе я не стала бы тебя беспокоить.

Она ждет; так она всегда и поступает, когда вопрос задан и требования выставлены. Нажим чаще осуществляется с помощью молчания, а не слов.

– Не могу ли я ему позвонить?

И наступает полнейшая тишина. Он говорит «Алло?», еще и еще раз. Потом слышит в трубке голос Нелл, сдержанный, нейтральный:

– Это опять я.

– Что случилось?

– Ничего... Подожди минуточку, она сейчас не может говорить.

– Нелл, какого черта? Чего от меня хотят? Я сказал, что могу позвонить в больницу.

– Боюсь, он хочет видеть тебя во плоти.

– Но почему же, бог ты мой?

– Я, право, не знаю. Только он ни о чем другом и не говорит.

– Я же перед отъездом просил Каро узнать, не могу ли я помочь как-нибудь.

– Я знаю. Думаю, дело в том, что он умирает. – Он чувствует, что она пытается найти разумное объяснение происходящему. – Мы пытались объяснить ему, что тебе будет очень трудно это сделать. Но это превратилось у него в какое-то наваждение. Я виделась с ним вчера вечером. Дело не только в Джейн.

– Не пойму, почему меня хотя бы не предупредили заранее.

– Джейн лгала ему. У него создалось впечатление, что она пыталась связаться с тобой. Но ей не хотелось втягивать тебя в это дело. Я и сама только-только в это вмешалась. Это я заставила ее хоть что-то сделать по этому поводу. Мы проспорили всю ночь. Считаю, что это я виновата.

– Как долго ему еще... как они считают?

– Не очень долго. Дело не только в том, что он скоро умрет. Еще – как долго он сможет разумно говорить. Я так поняла Каро, что ты уже закончил последний фильм, – добавила она.

– Более или менее. Дело не в этом.

– О да, разумеется. Ее фотография была на днях в «Экспрессе». Поздравляю.

– Ох, ради всего святого!

Она произносит очень ровным тоном:

– Если ты полагаешь, что нам с Джейн было так уж легко наблюдать...

– Я не совсем лишен воображения, Нелл. А теперь давай-ка, к гребаной матери, выкладывай, что там у вас осталось.

Голос его звучит необычно – Дэн явно задет за живое. Молчание. Потом она, как бы удовлетворяясь тем, что испытанное оружие по-прежнему способно ранить, отступает и говорит, будто ничего не случилось:

– Извини. Это не шантаж. Мы просто очень просим.

– Да это все прошло и быльем поросло.

– Не для Энтони. – И добавляет: – Но решать – тебе.

Он колеблется, делает какие-то расчеты, смотрит в сторону делового центра Лос-Анджелеса, сияющего огнями в шести-семи милях отсюда; он испытывает непонятный страх, словно отражение в зеркале оказалось его собственным призраком, явившимся к нему с обвинениями; словно эмпирик, столкнувшийся с чем-то угрожающе-сверхъестественным, хотя теперь он думает не о калитках, а о ловушках, о возвращении, грозящем утратой свободы, о выкапывании старых трупов, о смерти... не только о смерти Энтони.

– Джейн еще здесь? Могу я поговорить с ней?

– Минутку... да, хорошо. Передаю трубку.

– Дэн, извини, пожалуйста. Мы обе немного не в форме. Перенапряжение...

– Ладно, Джейн. Я понимаю. Послушай. Попробуй перенестись мыслями на тыщу лет назад. Помнишь тот день, когда ты бросила в реку полную бутылку шампанского? И когда я спросил, зачем ты это сделала, ты ответила, не помню точных слов, но что-то вроде: «Мне подумалось, что так будет правильно». Помнишь?

– Кажется.

– Тогда забудь о годах молчания, разделивших нас. Забудь гнев. Предательство. Ответь мне так же, как тогда, вдохновенно и прямо. Ты думаешь, мне *надо* приехать? Ты хочешь, чтобы я приехал?

– Я не вправе ответить тебе, Дэн.

– Если бы я не задал этого вопроса. А я его задал. – Он добавляет: – Я сейчас закончил один фильм. Готовлюсь начать другой. Все равно собирался домой съездить.

Он ждет ответа и уже видит, как это бывает с ним в начале работы над новым сценарием, открывающиеся перед ним варианты, различные ходы, новые возможности, которые он так или иначе сумеет использовать.

– Энтони будет тебе бесконечно благодарен. Если только это не слишком по-дурацки звучит.

– А ты?

Молчание. Наконец она произносит:

– Пожалуйста. Если только можешь.

– Времени осталось мало?

– Совсем нет.

И решение принято, прежде чем он успеваешь сам это осознать; он чувствует себя как серфер (образ чисто зрительный, не из собственного опыта), вдруг вознесенный на гребень волны и соскальзывающий вперед. Это как бы и момент волевого решения, будто он, как серфер, ждал этого момента, но – одновременно – и отказа от собственной воли, когда человек предается на волю волн.

– Ну хорошо. Этот разговор уже обошелся вам в целое состояние, так что слушай. Скажи Энтони – я выезжаю. Передай ему мое всяческое сочувствие. И дай трубку Нелл на минутку, ладно?

– Мне иногда думается, лучше бы я сама бросилась тогда в реку.

– Потребую от тебя объяснений, когда мы увидимся.

Она опять молчит – в последний раз. Потом произносит:

– Просто не знаю, что сказать, Дэн. Прости, пожалуйста.

У трубки снова Нелл.

– Попробую вылететь завтра утром. Предупреди Каро, что я возвращаюсь, хорошо?

– Позвоню ей сегодня вечером.

– Спасибо.

Он опускает трубку – назло, прежде, чем она успеваешь найти подходящий тон, чтобы выразить раскаяние или благодарность – или что там еще она может сейчас чувствовать. Смотрит

рит на сияющие плато калифорнийской ночи, но видит Оксфорд – в пяти тысячах миль отсюда, серое зимнее утро. Откуда-то снизу доносится нервозно-прерывистый вой патрульной сирены. Не поворачивая головы, он говорит:

– На два пальца, Дженни. И не разбавляй, пожалуйста.

Пристально смотрит на бокал, который она, не проронив ни слова, подносит ему. Потом, взглянув ей в глаза, с грустной усмешкой произносит:

– И черт бы побрал твою шотландскую прабабку.

Она не отводит глаз, глядя в него – что там, в его взгляде?

– Что случилось?

– Мой когдатощний свояк хочет меня видеть.

– Тот, у которого рак? Но я думала...

Он отпивает виски – половину. Снова смотрит на свой бокал. Потом на нее. И снова опускает глаза.

– Когда-то мы были очень близки, Дженни. Я никогда по-настоящему не говорил с тобой обо всем этом.

– Ты говорил, что они тебя отлучили.

Он отводит глаза, избегая ее взгляда, смотрит вниз, на бесконечный город.

– В Оксфорде он был моим самым близким другом. Мы тогда... это было что-то вроде квартета. Две сестры. Он и я. – Лицо его складывается в гримасу неуверенности: он ждет реакции. – Призраки.

– Но... – Восклицание повисает в воздухе. – Ты едешь?

– Кажется, ему не очень долго осталось...

Она смотрит на него пристально, в глазах ее – искренность и обида, детская и взрослая одновременно. И если сейчас он ей солжет, это будет в равной степени и ложь самому себе.

– Это из-за Каро, Дженни. Ей так долго пришлось разрываться между нами, что теперь, когда мне протягивают оливковую ветвь, я не могу отказаться.

– Почему ему вдруг так понадобилось увидеться с тобой?

– Бог его знает.

– Но у тебя должны же быть хоть какие-то предположения?

Он вздыхает:

– Энтони – профессиональный философ, к тому же католик. Такие люди живут в своем собственном мире. – Он берет ее руку в свои, но смотрит не на нее – в ночь за окном. – Его жена... она человек совершенно особенный. Очень честный. Придерживается строгих принципов в отношениях с людьми. Она не нарушила бы молчания после стольких лет, если бы... – Он замолкает.

Дженни высвобождает руку из его пальцев и отворачивается. Он смотрит, как она, стоя у дивана, закуривает сигарету.

– Почему ей подумалось, что *надо* выбросить в реку полную бутылку шампанского?

– Реакция на ее собственное предположение, что все мы в Оксфорде до тех пор жили в фальшивом раю. Вне реальности – Он продолжает, может, чуть поспешно: – Все это очень сложно. Я когда-нибудь тебе расскажу.

– Совершенно ни к чему занимать оборонительную позицию. Я просто спросила.

Но на него она не смотрит. А он говорит:

– Может, все это только к лучшему.

– Премного благодарна.

– Переведем дыхание.

– А я и не догадывалась, что у нас соревнования в беге. – Она берет пепельницу и без всякой нужды вытряхивает ее в корзину для бумаг. – Ты не вернешься?

– Ты ведь нужна здесь всего недели на три. Если все будет нормально.

Она молчит. Через некоторое время произносит:

– Ну что ж. Это мне урок. Буду знать, как шутки шутить про ясновидение.

– Да уж. Это, оказывается, довольно опасно.

Она бросает на него обиженный взгляд:

– Ты еще раз не попросишь меня выйти за тебя замуж?

– Я стараюсь не повторять дурацких ошибок.

– Вся твоя жизнь – сплошная ошибка. Ты сам только что сказал.

– Тем более важно не втягивать туда еще и тебя.

– Мне, конечно, не надо бы соглашаться.

– Тогда в чем дело?

Она наклоняется и начинает взбивать подушку.

– Я все время думаю об этом. Много думаю. И подозреваю, гораздо серьезнее, чем ты.

Несмотря на все твои разговоры.

– Тогда ты должна бы представлять себе, почему из этого ничего хорошего не выйдет.

– Я понимаю – все признаки скорее против, чем за. Как ты и утверждаешь. – Она продолжает приводить в порядок диванные подушки, поднимает одну, рассматривает отпоротившийся шнур. – Я просто хочу спросить, почему то, что ты не захочешь повсюду тащиться за мной, а я не захочу все бросить, чтобы штопать тебе носки, – плохо, а не хорошо. Это самое лучшее, на что я могу рассчитывать. Роль домашней наседки меня вовсе не привлекает. Именно из-за этого и рухнула моя единственная – до тебя – серьезная связь. И так оно всегда и будет с любым нормальным человеком моего возраста... Я просто пытаюсь быть честной, – добавляет она.

– Тогда определенно ничего не выйдет, Дженни. Очень важный компонент таких браков – недостаток честности. Думаю, нам с тобой это не под силу. В конечном счете.

Она укладывает подушку на место.

– Ты, кажется, никак не можешь понять, что очень нужен мне. Во многих смыслах.

– Не обязательно я.

Она отходит от дивана и усаживается в кресло. Сидит сторбившись, голова низко опущена.

– Мне уже страшно.

– Это только доказывает, что я плохо на тебя действую. И так будет всегда.

– Мне надо решить насчет новой роли.

– Ты знаешь, что я об этом думаю. Он – человек что надо. И сценарий он вытянет. Соглашайся.

– «И развяжи мне руки». – Она меняет тон: – Я знала бы, что ты меня ждешь. Что ты – рядом.

– Но так оно и будет. Пока ты этого хочешь. Ты же знаешь. – Он ищет слова, которые могли бы ее утешить. – Знаешь, ты ведь можешь переехать в «Хижину». Эйб и Милдред будут просто счастливы.

– Может, я так и сделаю. И не меняй тему. – Она затягивается сигаретой, выдыхает дым, поднимает на него глаза. Он так и не отошел от телефона. – Отметим: ты так и не сказал, что я – самое лучшее, на что можешь рассчитывать *ты*.

– Ты уже торгуешься!

– А ты скрываешь. Это еще хуже.

– Что я такое скрываю?

– Свое прошлое.

– Не очень-то оно интересно. Мое прошлое.

– Это глупый, поверхностный, уклончивый ответ.

Она делает паузы между прилагательными. Слова звучат как шелканье хлыста. Дэн отводит взгляд.

– То же можно сказать о большей части моего прошлого.

– Это сценическая реплика. Не реальность. – Он не отвечает. – Но так ведь можно сказать о прошлом любого из нас. Не понимаю, почему ты считаешь, что твое прошлое так особенно ужасно.

– Я не говорю, что оно ужасно. Оно не изжито. Не исторгнуто из себя. – Он отходит к дивану, садится; диван – под прямым углом к креслу Дженни. – Дело не в статистике. Даже не в фактах личной биографии. Дело просто в личном восприятии. – Она молчит, ничем ему не помогая. Он продолжает: – Я неправильно тебе сказал. То, что я ощутил сегодня днем, было вовсе не чувством пустоты. Скорее наоборот. Как будто здорово переел. Тяжкий груз непереваренного. Как жернов.

Она разглядывает кончик своей сигареты.

– А что такого сказала твоя бывшая жена, когда ты возмутился?

– Про этот снимок в «Экспрессе». Не удержалась – надо было меня уколоть.

Теперь она рассматривает ковер.

– А у тебя – то же самое?

– Что «то же самое»?

– Чувство ненависти? Я слышала, ты сказал: «Это все прошло и быльем поросло».

– А ты лет через двадцать будешь считать, что все, что сейчас, – быльем поросло?

– Что бы ни случилось, я не захочу снова причинить тебе боль.

Она не поднимает на него глаз, а он вглядывается в ее лицо – упрямое лицо обиженного ребенка и ревнивой молодой женщины; ему так хочется обнять ее, растопить лед, но он подавляет это желание и молча хвалит себя за это. Теперь он разглядывает то, что осталось в бокале от значительно большей, чем «на два пальца», порции виски.

– Мы ценили вовсе не то, что следовало. Слишком многого ожидали. Слишком многим доверяли. Через двадцатый век пролегла огромная пропасть. Рубеж. Родился ты до тридцать девятого или после. Мир... нет, само время... словно проскользнуло мимо. За десять лет перескочило на три десятилетия вперед. Мы – допотопники – навсегда остались за бортом. Твое поколение, Дженни, прекрасно знает все, что касается внешней стороны явлений. Все, что на виду. Как выглядели и как звучали тридцатые и сороковые. Но вам неизвестно, как они ощущались изнутри. В какие смешные одежды они облекли наши сердца и души. Какие оставили следы.

Она долго не отвечает.

– Может, тебе лучше позвонить в аэропорт?

– Дженни!

– Это не пропасть, Дэн. Это всего лишь баррикада, которую ты сам, по своей воле, водишь.

– Чтобы оберечь нас обоих.

Она тушит сигарету.

– Я иду спать.

Встает, идет через комнату к двери в спальню, но у самой двери останавливается и обращается к нему.

– Пожалуйста, отметь для себя, что я принципиально стараюсь не хлопать дверью.

Войдя в спальню, она с нарочитой старательностью оставляет дверь полуоткрытой. И снова поднимает на него взгляд:

– Ну как? Порядок, старина? – И исчезает.

Несколько секунд он сидит молча, допивает виски. Потом идет к стулу, где лежит пиджак, и достает из кармана записную книжку. Листает, направляясь назад, к телефону. Набирает номер и, ожидая ответа, смотрит в сторону полуоткрытой двери в спальню: как пресловутая калитка в стене, как сама реальность, как двусмысленная фикция возвращения прошлого, она

словно застыла в вечной нерешительности: приглашая и запрещая, прощая и обвиняя... и всегда – в ожидании кого-то, кто наконец догадается, *как надо*.

После

Полицейский автомобиль довез их до Норт-Оксфорд-стрит, где Дэн снимал мебелирашку. Небо совсем затянуло, накрапывал дождь. Они быстро шагали меж двух рядов солидных, в викторианском стиле, домов, таких чопорных, таких уравновешенно-банальных, что трудно было поверить в их реальность. Ветер срывал с деревьев листья. Словно вдруг пришла осень, сумрачная, преждевременная, злая. Не было сказано ни слова, пока они не оказались у Дэна в комнате.

Его однокомнатная квартирка была лучшей в доме: в глубине второго этажа, окнами в сад; но не меньшим достоинством здесь была и хозяйка, заядлая марксистка, ухитрившаяся как-то получить разрешение сдавать жилье студентам. Она практически не ограничивала свободу своих жильцов, что для того времени было совершенно необычно. Можно было примириться с нерегулярной и невкусной кормежкой и коммунистическими брошюрками ради возможности распоряжаться самим собой и своим жильем как собственной душе угодно. А жилье Дэна свидетельствовало о довольно передовых – для пятидесятых годов – вкусах его обитателя. Кроме государственной стипендии у него были собственные небольшие средства, а до повального увлечения «Art Nouveau»^[39] оставалось еще лет двадцать. В мелочных лавках и у старьевщиков можно было за один-два шиллинга приобрести самые разные образчики этого стиля.

К каким выводам можно было бы сегодня прийти, рассматривая фотографии этой комнаты? Интерес к театру: на стене коллекция открыток с портретами звезд мюзик-холла и оперетты периода до 1914 года (она хранится где-то и до сих пор и даже изредка пополняется); игрушечный театр, чуть напоказ выставленный на маленьком столике у окна, выходящего в сад; над камином – этюд декораций Гордона Крейга^[40] (подлинник), тогдашний предмет его гордости, позднее по глупости подаренный им женщине, из-за которой его жена подала на развод; афишка спектакля в рамке, с его собственной фамилией (предыдущей зимой он был одним из авторов либретто музыкального ревью); маски – целый набор – от представления «Антигоны» Ануя^[41] (вряд ли имеющие отношение к искусству *fin de siècle*^[42] и рождающие мысль о подзвонном эклектизме обитателя комнаты).

Интересы научные: шкаф с английской художественной литературой и – на стене – карикатура: профессора Толкиена^[43] попирает ногами русский стахановец со знаменем в руках, испещренным какими-то буквами; при ближайшем рассмотрении стахановец оказывался оксфордским студентом-старшекурсником, а рунические письма на знамени гласили: «Долой англосакса!»

(Этой карикатуре цены нет с тех пор, как увидел свет «Властелин колец»; к сожалению, она была предана огню всего три недели спустя с момента описываемых событий, точнее говоря, в последний день выпускных экзаменов, заодно с набившим оскомину «Беовульфом»^[44] и целым рядом других печатных орудий пытки; акт сожжения был страшной мстостью за степень магистра с отличием, но – третьего класса, о чем его неоднократно предупреждали и что он, вполне заслуженно, и получил.)

Происхождение и личная жизнь: здесь возникают трудности, однако самая скудость свидетельств весьма показательна. Никаких семейных фотографий, насколько я помню, впрочем, одна все-таки имеется, если только можно этот любительский снимок отнести к разряду семейных: размытое изображение старого каменного крыльца, над дверью выбиты полустершиеся (но он помнил их наизусть) цифры – 1647; вероятно, там были и другие снимки – сцены из спектаклей, поставленных Английским театральным клубом и Театральным обществом Оксфордского университета, в которых Дэниел так или иначе принимал участие; и – разумеется – кабинетный портрет Нелл, на искусно затушеванном фоне и в заданной фотографом позе; портрет стоял на обеденном столе, исполнявшем роль стола письменного и в данный момент

заваленного вещественными доказательствами панической предвыпускной зубрежки. Самое потрясающее впечатление от этой комнаты – ярко выявленный (или – вырвавшийся наружу против воли) нарциссизм, поскольку стены здесь были увешаны зеркалами – в количестве не менее пятнадцати штук. Правда, эти зеркала приобретались из-за их рам в стиле ар-нуво – во всяком случае, объяснялось это увлечение именно так; но никакая другая комната в Оксфорде не предоставляла никому столь удобной возможности взирать на собственную персону в каждый удобный момент. Эта не весьма существенная слабость жестоко высмеивалась в прошлом семестре изустно и даже печатно – в студенческом журнале (впрочем, любое высмеивание в Оксфорде оказывается гораздо менее жестоким, чем отсутствие такового). Журнал опубликовал подборку «характеров» в стиле Лабрюйера^[45]. Дэниела наградили именем *Specula Spéculons*³, господина, «ушедшего в мир иной в результате шока: он случайно взглянул в зеркало, оказавшееся пустой рамой, и таким образом вместо утонченных черт собственного любимого лица увидел, чего воистину стоят его таланты».

Следует помнить, однако, что эти неумелые попытки украсить свое обиталище делались вопреки – или в результате – характерной для того времени скудости быта, определявшегося карточной системой, на фоне удручающего однообразия. Англии все еще снилось осадное положение. В то время убранство этой комнаты выглядело как вызов окружающей серости. Те, кого приглашали сюда на вечеринки, чувствовали себя польщенными и рассказывали об увиденном менее удачливым друзьям. Дополнительную пикантность всему этому придавала хорошо всем известная хозяйка, жившая на первом этаже; она возмущенно заявляла, что пригрела змею у себя на груди, и осуждала все эти его вычурные горшки и безделушки, весь этот мещанский декаданс и весь этот образ жизни; во всяком случае, именно так Дэниел представлял ситуацию своим гостям. Истина же заключалась в том, что «товарищ старушка», при всей своей эксцентричности, была далеко не глупа и прекрасно знала своих юных постояльцев, знала, чем они могут сгодиться для «великого дела», гораздо лучше, чем они сами это осознавали. Ни один из тех, кто жил в ее доме в одно время с Дэном и кто впоследствии, как и он сам, добился некоторой известности, не стал коммунистом; но замечательнее всего то, что ни один из них не стал и консерватором.

Джейн слишком хорошо знала эту комнату, чтобы снова обратить внимание на ее убранство. Она прошла прямо к окну и стала смотреть вниз – в сад. Минутой позже, сняв красный платок, она потрянула темными волосами, и они рассыпались по плечам; от окна она так и не отошла, стояла, держа в руке платок, думала о чем-то.

– Выпьешь чего-нибудь, Джейн?

Она обернулась, сказала, чуть улыбнувшись:

– Может, чаю?

– Пойду налью чайник.

Вернувшись с чайником из ванной, он обнаружил, что Джейн стоит в том углу, где была устроена довольно жалкая кухонька.

– Молоко у меня только сухое.

– Это не важно.

– Могу стянуть немножко у старушки Нади Константиновны.

– Да это не важно.

– Ее нет дома.

– Право, не надо.

Она вышла из угла с двумя чашками, заварочным чайником и двумя ложками и опустилась на колени перед камином. Он поставил чайник на маленькую электроплитку, на которой всегда кипятил воду, и прошел в кухонный угол за сухим молоком, чаем и сахаром. Потом

³ Здесь: зритель рассматривающий (лат.).

уселся на ковер напротив Джейн, глядя, как она, тщательно отмеривая чайные листья, опускает заварку в чайник.

– А Нелл зайдет сегодня?

Он покачал головой:

– Пишет курсовую.

Она кивнула. Было ясно – ей не хочется разговаривать. Но для него ощущение пустоты погруженного в молчание дома, пустоты этого дня, этого времени делало объявивший их вакуум непереносимым.

– Зажечь камин?

– Как хочешь.

Он зажег спичку – фыркнула газовая горелка, пламя вспыхнуло синим с золотом, разбрасывая светящиеся розовые искры. Тихонько зафыркал и чайник на плитке. Дэн вдруг почувствовал, как в самой глубине его существа пробуждается что-то вроде довольного урчания, вопреки смущению, вопреки молчанию Джейн. Мысленно он уже репетировал всякие забавные варианты рассказа о случившемся (его мозг уже тогда был способен создавать хитроумнейшие диалоги: это поселившееся в нем чудовище в те годы казалось всего лишь смешным и необычным даром небес); мысленно обыгрывалась напыщенная речь полицейских, которые «хочут образованность показать»; невозможное фатовство Эндрю; заявление Марка – «Я участвовал в десанте у Анцио, старина»... да не только само происшествие – серые ягодицы цвета недоваренной трепухи, черви, кишачие в волосах (хоть он узнал об этом с чужих слов, но можно сказать, что сам видел...), – а кое-что еще, ведь он провел целый день с Джейн – кумиром целого курса, без пяти минут знаменитостью.

Вся молодежь Оксфорда искренне верила, что Джейн будет знаменита, знаменита по-настоящему, с ее-то внешностью и талантами (гораздо более серьезными, чем способность изображать Риту Хейворт: ее Виттория в «Белом дьяволе»^[46] была тому несомненным доказательством). Теперь она сидела, опершись на руку, чуть склоняясь на один бок, и смотрела в огонь. Больше всего, если подумать, его привлекала в ней не искрометная живость, не способность перевоплощаться, не пластика – словом, не то, что она являла собою на сцене, а то, о чем теперь говорило ее лицо: чуть меланхоличная задумчивость, внутренняя одухотворенность. В ней спокойно уживались два разных человека, это стало ясно уже давно, она была натурой гораздо более сложной, чем Нелл; именно это, вопреки всяким внешним обстоятельствам, и делало ее ровней Энтони, который во многом казался абсолютной противоположностью им троим: знаток классической философии, выпускник Уинчестер-колледжа^[47], которому уже сейчас обеспечена профессорская карьера здесь же, в Оксфорде; человек практичный, с быстрым аналитическим умом и афористичной речью, мыслящий логически во всем, что не касалось его религиозных убеждений (католицизм в то время считался в той же мере пижонством, что и коллекционирование зеркал в рамах ар-нуво).

Студентов вроде Марка – рано созревших молодых людей, успевших на собственном опыте узнать, что такое война, и воочию видевших смерть, – в Оксфорде было хоть пруд пруди; все до единого в университете знали про то, как прокторский «бульдог»^[48] попытался силой выволочь студента из пивнушки, да обнаружил, что его жертва – тот самый молодой полковник, ординарцем которого он служил во время войны. Но зрелость Энтони была иного рода: по сравнению с другими сверстниками он лучше знал, кто он есть и кем намеревается стать. Его помолвке с Джейн завидовали, но только тот, кто плохо знал их обоих, мог считать, что они не подходят друг другу. Под маской внешней несхожести они прекрасно друг друга дополняли.

Дэн мог бы тогда признать, хотя не столь лаконично, как сейчас, что просто-напросто влюблен в Джейн. Поэтому он и испытывал смущение. Прошло уже несколько месяцев – два семестра по меньшей мере – с тех пор, как он это понял, и понял, что оказался в тупике. Его будущий брак с ее сестрой был обречен задолго до этого дня. Бессмертны слова Уэб-

стера о странных геометрических построениях... Он должен был бы испытывать чувство вины по отношению к Нелл; но, как ни странно, гораздо более виноватым чувствовал себя перед Энтони, хотя вовсе не (или – почти не) из-за этого проведенного с Джейн дня, когда Энтони позволил себе отдохнуть от предвыпускной зубрежки и укрылся на весь конец недели в каком-то глостерширском монастыре.

Дэн до сих пор чувствовал себя незаслуженно польщенным дружбой с Энтони: незаслуженно, потому что так и не смог понять, что этот блестящий уикемист^[49] в нем нашел. Зато он понимал, что он сам получает от общения с другом, от контакта с гораздо более острым и утонченным интеллектом, с душой, гораздо тверже воспринявшей как духовные, так и мирские ценности и гораздо менее поддающейся развращающему влиянию новомодных идей и эфемерных идеалов. В каком-то смысле Энтони сам был *воплощением* Оксфорда, в то время как Дэн был в Оксфорде всего лишь гостем. По правде говоря, от Энтони он узнал гораздо больше, чем от своих профессоров. Но в их отношениях был один существенный недостаток: Дэн не мог избавиться от глубоко запрятанного убеждения, что это – дружба между неравными.

Если быть справедливым к Дэну (и к историческим фактам), следует заметить, что с точки зрения престижа в студенческой среде (а престиж здесь часто связан еще и с дурной славой) его чувство собственной неполноценности показалось бы современникам поразительным и необъяснимым. Студенты знали его гораздо лучше да и завидовали ему значительно больше, чем Энтони; он принадлежал к той группе однокашников, кто, не сделав университетской карьеры, тем не менее добился известности и за пределами своего колледжа, и – если оглянуться назад из сегодняшнего дня – именно они определяли лицо университетского поколения того времени. Но, подобно Джейн, в нем тоже крылись два человека, хотя тогда он не был готов (или способен) признать это с той же легкостью. Возможно, он допускал это, когда думал о своем – скрываемом ото всех – отношении к Энтони или о своем чувстве к Джейн. Он даже слегка завидовал тому, что она, в отличие от него, женщина и ее юная женственность позволяет ей более естественно, по-взрослому вести себя: она могла одновременно и подсмеиваться над человеком, и проявлять к нему искреннюю теплоту, а он позволить себе этого не мог. Они обычно занимали одинаковую позицию практически в любом споре с Энтони, устроили настоящий заговор и мягко высмеивали его, если он начинал слишком явно вести себя как новоиспеченный профессор. Но это был сугубо сценический заговор, они играли умудренных жизнью актеров, высмеивающих всяческий интеллектуализм, пряча за этой игрой свои истинные склонности и симпатии.

И вот теперь Дэн смотрел на это живое доказательство собственного провала, на этот так и не завоеванный им приз, который к тому же был отчасти даже у него украден, поскольку он познакомился с Джейн раньше, чем Энтони, и, пока сам не представил их друг другу, держался на расстоянии просто потому, что испытывал перед нею почтительный страх. Теперь он довольствовался этим суррогатом близости, сидя рядом с Джейн в теплой тишине, нарушаемой лишь еле слышным шипением огня. Небо, казалось, еще больше потемнело, как редко бывает в середине лета. Чайник закипел, и Джейн потянулась за ним, сняла с плитки, принялась заваривать чай. Не прекращая этой процедуры, она задала Дэну свой поразительный вопрос:

– Ты спишь с Нелл, Дэн?

Напряженное лицо, потупленный взгляд.

– Ну, *дорогая*... – Он даже присвистнул, сделал вид, что вопрос его удивил и позабавил; на самом деле он был просто шокирован. Не улыбувшись, она поставила чайник на каминную плиту, поближе к огню. Дэн, мне думается, обладал одним несомненным достоинством: он необычайно быстро улавливал настроение собеседника по интонациям, по тому, как используются слова, по мельчайшим изменениям линий рта и глаз; но это касалось только настроения, намерений угадать он не мог. Он смущенно пробормотал: – Разве Нелл не...

– Сестры не обязательно обсуждают друг с другом такие вещи. – Она положила по ложечке сухого молока в каждую чашку. – Ты хотел сказать – «да»?

– А разве не у всех так?

Надо сказать, что *так* было далеко не у всех, в те-то времена; а те сравнительно немногие, у кого было *так*, старались держать это в секрете. Но Дэн не относился к тем молодым людям, кто стал бы сейчас хранить под спудом свои обретенные тяжкими усилиями, а вовсе не данные от природы познания. Надо было сохранить хотя бы видимость откровенности.

– У нас с Энтони – не так.

Он не мог понять, зачем ей понадобилось сообщать ему об этом. Зная взгляды Энтони, он и не предполагал, что у них это могло быть так: и Нелл, и он сам совершенно определенно решили, что этого не может быть.

– Католикам запрещается?

Джейн протянула ему чашку с чаем; хлопья нерастворившегося молочного порошка плавали поверху.

– Да.

– Для него это очень важно?

– Да. Хоть он сам и подсмеивается над собой... Эпиграммы сочиняет.

Она чуть заметно улыбнулась; но, кажется, уже второй раз в ее словах слышался упрек в адрес Энтони. Где-то в дальней глубине – подвижка земных слоев, первый, чуть заметный надлом в геометрических построениях. Она отпила из чашки.

– Я не девственница, Дэн. В моей жизни уже был другой... еще на первом курсе. До того, как я встретила Энтони.

Это признание сломало что-то нетронутое в их отношениях.

– А он – знает?

Она состроила гримаску:

– Может, из-за этого я тебе и говорю. Что-то вроде репетиции.

– О боже!

– Так глупо. Если б только я решилась сказать ему в самом начале. А потом оказалось слишком поздно. Сплошной тупик. И дело не в том, что было. А в том, что раньше об этом не сказала.

Он предложил ей сигарету, зажег жгут из бумаги и протянул ей, потом закурил сам.

– А сам спросить он не догадался?

– При всем своем уме он удивительно доверчив в самых неожиданных вопросах. Он делает о людях такие заключения, каких никогда не сделал бы, если бы речь шла о теории логики или о силлогизмах. – Она затянулась сигаретой. – Во всяком случае, раньше мне всегда так казалось.

– А теперь?

– А теперь я думаю, может, он чего-то боится? И сама начинаю чего-то бояться каждый раз, как пытаюсь набраться смелости ему сказать.

– Но ведь когда-нибудь придется.

– Не могу – перед самыми выпускными экзаменами... Он это обязательно расценит как...

– Как что?

Замечательные у нее были глаза, поистине – зеркало души. Иногда она казалась совсем юной; вот и сейчас, пристально глядя в огонь, она казалась гораздо моложе Нелл.

– Это его иезуитское воспитание. Мое сообщение будет настолько не ко времени, что он решит – я пытаюсь сообщить ему что-то совсем другое. Будет стараться понять – что именно.

– Ты уверена, что он не воспринимает союз с тобой как еще один гибельный шаг во тьму?

Она улыбнулась:

– Ну раз уж ты заговорил об этом... Думаю, я для него – воплощение этой самой тьмы.

– Он очень тебя уговаривает... ну, принять эту его веру?

– Ты же знаешь, какой он. – Она пожала плечами. – Он не устанавливает никаких правил. Не ставит условий. У него все разговоры – сплошь Габриель Марсель^[50] и личный выбор. Просто из кожи лезет вон, чтобы ничего не решать за меня. – Она плотнее оперлась на локоть, отодвинув ноги подальше от жаркого камина, но продолжала пристально глядеть в огонь. – На этой неделе до меня вдруг дошло, о чем на самом деле толкует Рабле. Насколько он и вправду современнее, чем вся эта шушера из Сен-Жермен-де-Пре. Насколько больше он экзистенциалист, чем все они, вместе взятые. Вот о чем я пыталась сказать там, на реке. Подумать только, ведь вся Англия охвачена стремлением к самоотречению! Прямо наваждение какое-то. А мы тут отгородились от всего в собственном крохотном мирке. Я чувствую, что примерно то же можно сказать и об Энтони с его верой. Он вечно занят мыслями о прошлом и заботами о будущем. Где уж тут наслаждаться настоящим. А Рабле – он словно потрясающе сладкая, нескончаемая ягода – вроде малины – на фоне всего этого. У него есть такие места... начинаешь думать, что он – единственное нормальное существо из всех людей, когда-либо живших на свете. – Она разглядывала кончик своей сигареты. – Попробовала объяснить все это Энтони. Пару вечеров назад.

– И он не все понял?

– Наоборот. Все до точки. Единственное, чего он не понял, – это что я только что изменила ему с другим. Мысленно.

Дэн усмехнулся, не поднимая глаз:

– Но ты ведь так это не сформулировала.

– Но это подразумевалось. Раз способна на ересь, то и на адюльтер. Особенно в тот момент, когда за этическую необузданность он вынес приговор моему жалкому женскому умишку.

– Брось. Энтони вовсе не такой.

– Разумеется. Он был такой забавный. Никак не мог поверить, что я это всерьез. – Она принялась водить пальцем по узору потертого турецкого ковра рядом с ковриком, на котором сидела. – Его беда в том, что он может быть только тем, что он есть, только самим собой. А ты и я – мы можем быть другими.

– Ну вот, теперь ты отказываешь ему в воображении. Это несправедливо.

– В воображении я ему не отказываю. А вот в способности действовать соответственно...

Он никогда не сумел бы написать пьесу. Или роман. Ничего, что потребовало бы от него стать другим. Никогда в жизни, проживи он хоть тыщу лет. – Она замолчала. Потом заговорила снова, сменив тему: – Никак не пойму, нравится он Нелл или нет.

И снова он почувствовал, что шокирован.

– Конечно нравится. Ты и сама это знаешь.

– Она что, не понимает, что он неодобрительно к ней относится?

Тут Дэн бросил на нее быстрый взгляд: она по-прежнему разглядывала узор на ковре.

– Это и для меня новость, Джейни.

Ложь: это неодобрение не только давно ощущалось, оно пугало. Сегодняшний день вдруг въяве обнаружил неожиданные грани, тайные трещины, время, обращенное вспять: воистину странные геометрические построения. Казалось, в Джейн говорит чуть ли не озлобленность, стремление снять шоры с его глаз и в то же время – душевная обнаженность, позволившая ему увидеть все эти глубоко запрятанные чувства.

– Он очень старается скрыть свое неодобрение. Даже от меня.

– Да что он может против нее иметь, бог ты мой?!

– Думаю, он догадывается, что вы спите вместе. Опасается, что и во мне есть то же, что так пугает его в Нелл. Он, видимо, принимает за чистую монету ее стремление казаться этаким пустынькой сексапилочкой.

– Но это же маска. По крайней мере наполовину.

– Я знаю.

– И я тоже заслуживаю осуждения?

– Да нет. Тебя он принимает таким, как есть. Ты – дитя природы. Так он сам себе доказывает, что он не ханжа. – Она искоса взглянула на Дэна: – Тебя все это шокирует?

– Мне кажется, во всем этом он какой-то ненастоящий.

– Но он по-настоящему любит вас обоих.

– Благодарю покорно.

– И он старается понять.

– Но он же не может искренне испытывать и то и другое чувство. Как это возможно: при нас делать вид, что ему нравится Нелл, а за спиной жалеть, что я очутился в когтях вавилонской блудницы?

– Просто он боится за тебя.

Он пристально смотрел на Джейн, но ее глаза были устремлены в огонь. Он почувствовал, что опять не успевает за ходом ее мысли.

– Ты об этом хотела мне сказать там, на реке? Когда спросила, собираемся ли мы с Нелл пожениться?

– Это ты о чем?

– Вы с Энтони оба пришли к четкому выводу, что нам не следует этого делать?

– По этому поводу я ни к какому четкому выводу не пришла.

Он помолчал, потом чуть слышно сердито хмыкнул:

– А я-то думал, что мы во всяком случае заслужили вполне квалифицированное одобрение – с твоей стороны. – Он опять помолчал. Потом спросил: – Почему же тогда ты сказала, что Нелл повезло?

– Потому что я так считаю. – И добавила очень медленно: – И я не могла прийти ни к какому четкому выводу, потому что не могу судить об этом объективно.

Он снова постарался заставить ее поднять на него взгляд.

– Почему не можешь?

– Потому.

– Это не ответ.

Она очень тихо ответила:

– Потому что я ревную.

– Из-за того, что для нее постель не проблема?

– Это была бы просто зависть. А я ревную.

Потребовалось время – минута или даже две, чтобы до него дошло. Но то, как упорно она разглядывала ковер... Он опустил глаза и принялся разглядывать собственные, вытянутые прочь от огня ноги; он сидел опершись о стену рядом с камином и теперь чувствовал себя как человек, которого с завязанными глазами подвели к краю пропасти. В наступившей тишине Джейн пробормотала:

– «Fais ce que voudras».

– Все как-то очень сильно усложняется.

– Может быть, наоборот, упрощается? Давно пора.

– Но я думал, вы с Энтони...

Она отвернулась и теперь опиралась на другой локоть. Он смотрел ей в спину.

– Все это лето, когда мы собирались вчетвером, ты на меня не смотрел. Если это не было абсолютно необходимо. И я... Мне приходилось заставлять себя смотреть на тебя нормально.

Она низко наклонила голову, пряча лицо; ждала.

– А я и не замечал.

– Что избегаешь моего взгляда?

- Что с тобой то же самое.
- Даже не догадывался?
- Ну... может, раз или два подумал... В тот вечер в «Форели».
- А что ты подумал, когда я взяла тебя за руку?

Когда паб закрылся, они пошли в парк к беседке Розамунды. Нелл с Энтони шли впереди. В темноте Дэн с острым волнением ощутил, как в его руку легла легкая ладонь Джейн... но тогда ничего подобного ему и в голову не пришло.

- Я подумал, ты по-сестрински...
- Весь вечер Нелл просто выводила меня из себя. Никаких теплых сестринских чувств я не испытывала.

И снова – тишина. Он глядел на ее затылок, на очертания ее тела. Дождь почти перестал, но небо по-прежнему было затянуто тяжелыми тучами. Он выдал из себя признание – будто бы неохотно. Но на самом деле он был восхищен и взволнован.

- Это безумие. Но мне кажется, я люблю вас обоих.
- И я чувствую точно то же самое.
- Господи, что за напасть!
- Это я виновата. Я не собиралась поднимать этот разговор.
- Это все из-за той... в камышах.
- Да, наверное.
- Со мной это началось очень давно. Но ты пользовалась таким успехом... я не знал, как к тебе и подступиться.

И снова – тишина.

- Это как грипп подхватить, – сказала она. – Не заметишь, как заболел, а потом уже поздно и с этим ничего не поделаешь.

– Только против гриппа существуют довольно простые средства.

Она ответила не сразу.

- В таких случаях ложатся в постель, верно?

Теперь оба долго молчат. Потом Дэн окликает ее шепотом:

- Джейн? – Она лежит к нему спиной, опершись на локоть и поджав ноги. – Ты это всерьез?

Она мотает головой:

- Это так трудно объяснить. У меня такое чувство, что Энтони вроде бы лишает меня чего-то. Того, что есть у вас с Нелл. Того, чего жаждет мое тело.

– Рабле?

- Быть сумасбродной и распутной, так, кажется?

«Сумасбродная и распутная» было ходячей фразой среди тогдашних студентов и всегда употреблялось иронически.

- Но ты только что сказала...

– Я люблю его, Дэн. Как ни странно, все это потому, что я его люблю. – Она помолчала. – Хочу его любить.

Он чувствовал, как почва уходит у него из-под ног, но уже не мог остановиться.

- Ты хочешь убедиться, что сможешь его любить?

Когда она нарушила наступившее молчание, ее голос звучал так тихо, что он едва слышал ее слова:

- Только один раз. *Acte gratuit?*⁴

Он не мог отвести глаз от собственных ботинок.

- А завтра?

⁴ Здесь: акт доброй воли (фр.).

– Ну, если бы мы точно знали, что делаем. Если бы смогли вынести это... за рамки времени. Как изгнание бесов. Освобождение.

Он постарался неслышно проглотить ставший в горле ком.

– Освобождение... от чего?

– От того, что должно случиться. От того, что случится.

– Даже зная, что мы любим друг друга?

– Зная, что когда-то мы желали друг друга. И что хоть раз нам хватило смелости признаться в этом.

Он чувствовал, как его захлестывает физическое возбуждение, и вовсе не испытывал желания бороться с ним, но все же сказал:

– Не представляю, как мы сможем смотреть им в глаза.

– Нам, кажется, до сих пор удавалось вполне успешно скрывать очень многое. Даже друг от друга.

– Дело не в том, что я...

Но незаконченная фраза повисла в воздухе. Он был словно парализован, потрясен огромностью происходящего, восхищен его необычностью. Молчание заполняло всю комнату, Джейн словно застыла на месте. Откуда-то издали, из-за ограды сада, сквозь шорох дождя донеслись звуки гобоя – быстрые умелые пальцы сыграли несколько восходящих и нисходящих гамм. И снова – тишина.

Джейн села и повернулась к нему. Она словно впервые смотрела на него – нежно и испытующе. Ее карие глаза встретили его взгляд; в тот момент в ней было что-то девственно-чистое, она, словно школьница лет семнадцати, была напугана тем, что затеяла ее более взрослая ипостась; но слабая улыбка, игравшая на ее губах, как-то перевешивала – хоть и не отрицала напрочь – эту юную непорочность. А может быть, эта улыбка была вызвана его собственными колебаниями, отразившимися в выражении его лица, потому что в ней виделся и чуть заметный вызов, и поддразнивание, будто девушка не имела в виду ничего большего, чем просто «взять его на слабб».

Гобой зазвучал снова: студент-музыкант заиграл Делиуса^[51], и Джейн протянула над ковром руку жестом прямо-таки ритуальным – так подавала руку жениху средневековая невеста.

В пути

Дэниел чуть не опоздал на самолет, попав в затор на шоссе. На этот раз смог не укрывать небо, стояло по-калифорнийски прекрасное зимнее утро. Седовласый поляк-водитель клял на чем свет стоит автомобильные дороги вообще и шоссе на Сан-Диего в частности, но злился и бушевал он гораздо сильнее, чем его пассажир: Дэниел препоручил свое «я» судьбе и не без удовольствия разглядывал его, словно сквозь объектив камеры Ишервуда⁵, словно это «я» действительно было лишь выдуманным героем романа, персонажем в чужом сценарии... Тем самым Саймоном Вольфом – проросшим зернышком идеи, подсказанной ему прошлой ночью. Возможно, давнее прозвище – мистер *specula speculans* – было не вполне справедливым: страсти к зеркалам лишь в буквальном смысле кажется *prima facie*⁵ свидетельством нарциссизма, оно ведь может еще символизировать попытку увидеть себя глазами других, уйти от восприятия себя в первом лице, стать собственным лицом третьим.

В уже вынесенной Дэном весьма низкой оценке будущего романа (отказ от которого – он прекрасно это сознавал – был, с одной стороны, результатом дурного влияния собственного *métier*⁶, а с другой – равнодушной уверенности, что ему уже неостанет воображения, не хватит дыхания, потребного для столь сложной формы; что он задохнется, словно калека-астматик, предприняв атлетическую попытку одолеть эту вершину) он весьма симптоматично оставил самый темный уголок для повествования от первого лица; и чем теснее повествовательное «я» сближалось с тем, другим «я», которое можно было бы счесть авторским, тем мрачнее этот уголок становился. Поистине объективность камеры Ишервуда отвечала некой глубинной психологической потребности его существа в гораздо большей степени, чем фундаментальным эстетическим (и даже квазиэстетическим) принципам хорошего вкуса, на интуитивное обладание которыми он иногда претендовал.

И пока он сидел вот так, вполуха слушая и время от времени произнося что-то полуодобрительное в ответ на воркотню водителя (тот явно решил доказать, что теперь он – стопроцентный американец, а Америка – идеальное общество, в идеальном обществе не может быть ни недостатков, ни дорожных заторов, так какого черта тут заварилась эта каша?), в голову ему закралась смутная догадка, что его стремление уйти от собственного «я», неизбежно присущего любому честному воспроизведению истории собственной жизни, есть не что иное, как боязнь вынести суждение; оказалось, что замечание по поводу стремления к совершенству, процитированное Дженни, гораздо точнее попало в цель, чем она могла предположить, и то, что он, сам того не сознавая, так хотел сделать, было теснейшим образом связано с тем, что – сам того не сознавая – он делать терпеть не мог. Он даже попытался было попробовать на вкус фразу: «Я опоздал на самолет (или "Я чуть было не опоздал на самолет")», попав в затор по дороге на Сан-Диего» – и с отвращением поморщился: ни вкус, ни звучание этой фразы его не устраивали.

Наконец они поползли вперед, увидели место аварии, тревожно мигающие красные огни, заставившие остановиться вереницы бессильных что-либо сделать людей на колесах. И, совершенно по-английски, Дэниел аккуратно занес в память дополнительный аргумент в пользу того, почему он обречен быть самим собой: ясно, что, если когда-нибудь он и попытается совершить невозможное, ничего не может быть хуже, чем писать от первого лица... даже абсурдность мифического Саймона Вольфа была бы более оправданна.

⁵ На первый взгляд (*лат.*).

⁶ Ремесло, профессия (*фр.*).

В то утро я к тому же очень устал. Дженни не отпускала меня еще целый час. Были слезы – не впервые с тех пор, как мы познакомились, но впервые из-за наших с ней отношений.

Идея снять фильм с Дженни в главной роли возникла три года назад, во время работы над другим сценарием в Голливуде. Студия отыскала мне в качестве секретаря девушку-англичанку, из тех, что объехали всю Америку, работая то тут, то там, не очень привлекательную внешне, но обладавшую хорошим чувством юмора и острым язычком. В перерывах, за кофе, я с удовольствием выслушивал ее лаконично-иронические повествования о разных случаях на прежней работе, о ее неудавшихся романах; мне давно хотелось написать что-нибудь о комическом столкновении двух культур – английской и американской... Так что теперь Дженни была вышколенной английской няней в семье американского миллионера, в роскошном доме, расположенном где-то в фешенебельном каньоне, и вела безуспешную войну не только с хозяином и хозяйкой, но и со своим приехавшим в отпуск приятелем, которого играл Стив Андерсон. Роль Дженни была достаточно близка ей по характеру. Стив был – и остался – ужасающим занудой, но и его роль открывала массу возможностей использовать его реальные пристрастия и неизбывную поглощенность самим собой. Боюсь, что режиссер и сценарист сознательно культивировали ту, пусть не очень явную, неприязнь, которую их ведущие актеры испытывали друг к другу вне игровой площадки. Я не говорил об этом Дженни, но на самом деле стал испытывать к Стиву – в фильме, а не в жизни – даже какое-то уважение. На экране, в «потоках», ее английская сдержанность и его якобы сознательная распушенность сочетались просто великолепно – на что мы и рассчитывали. И еще – мы солгали ей, что Стива выбрали на эту роль не сразу.

Это была ложь во благо, поскольку нам очень нужна была молодая актриса, для которой кошмарный сон Калифорнии оказался бы таким же новым и неожиданным, как для героини фильма. Я знал, как коварно влияние этого места, как незаметно и быстро оно приучает чужака к своему невероятному образу жизни, так что невинность Дженни в этом плане была нам очень важна. Помимо всего прочего, это означало, что фильм – орешек потруднее, чем ей представлялось. В «Кларидже» я вел себя как свинья отчасти именно по этой причине: хотел предупредить ее, что, каковы бы ни были ее успехи дома, в Англии, сейчас она собирается шагнуть за порог такого знакомого, родного – в обоих смыслах – кино, шагнуть в совершенно иной мир, чуждый и грозный гораздо большим одиночеством. Кроме того, мы опасались, что ее напугает дурная репутация Стива (и что она узнает, насколько больше он получает, чем она). В те первые дни я следил за ней пристально, словно ястреб, с чисто профессиональным интересом... который вскоре, естественно, стал гораздо более личным, хотя она понравилась мне еще больше, когда я заключил, что в моей помощи она не нуждается. В ней сочетались живость, такт и независимость – качества, унаследованные от предков-шотландцев, которые я ценю гораздо больше, чем ясновидение. Как очень многие красивые и далеко не глупые молодые актрисы, Дженни оказалась перед некой дилеммой: начинались мучения из-за собственной привлекательности. Вполне возможно, эти мучения не вызвали бы сочувствия у большинства молодых женщин; тем не менее дилемма существует... а киноимидж Дженни слишком точно отвечает современным представлениям о сексуально привлекательной молодой женщине, чтобы она могла избежать притязаний. Этакая длинноногая хрупкость, беззаботная элегантность, тонкой лепки лицо с прелестным ртом и открытым взглядом, и вся она – ожидание и искренность... такая милая, верная и неизменная девочка – утверждал кинообъектив, – ищущая любви, с которой просто невозможно не отправиться в постель; сказочная принцесса двадцатого века, пробуждающая почти те же мечты, что и истинные принцессы, когда-то томившиеся за стенами замков, принцессы-грезы, чей образ владел умами в иные века, воплощая собою недостижимость идеала.

В Англии она некоторое время работала манекенщицей и умела подать себя так, чтобы сразить наповал, умела «перевоплотиться»: тщеславие этого рода ей не всегда удавалось в себе побороть. Даже уставшая, без грима, с совершенно естественным лицом, она не всегда могла

избавиться от привычного выражения пустой значительности и сознания не требующей усилий красоты, столь свойственного самым фотогеничным женщинам сегодняшнего мира, всем этим Твигги, Шримптоншам и прочим. Дженни и сама понимала это и обычно строила характерную шутовскую гримаску, если замечала, что я поймал это ее выражение. Помню один вечер – мы были в гостях, Дженни выглядела умопомрачительно даже по сравнению с весьма опытными соперницами, и я сказал ей об этом, когда мы вернулись домой. Она прямоком отправилась в ванную и тщательно вымыла лицо. Вышла из ванной и заявила: «Запрещаю тебе любить меня за это!»

Желание быть самостоятельной молодой женщиной, а не просто воплощением сексуальной мечты уверенных в своем превосходстве мужчин все-таки искалечило ее тоже, хоть и иначе: ее холодность по отношению к мужчинам, судившим о ней по внешнему впечатлению, просто выходила за рамки приличия и даже меня ввела поначалу в заблуждение. Эта ее надменная отрешенность очень хороша была для ее роли, но в отношениях с людьми этот ее уход в себя, газелий страх при малейшем промахе собеседника, хоть она и научилась со временем его получше скрывать, казался мне просто глупостью. Ее – другую, настоящую, душевную и не такую уж уверенную в себе – я поначалу и не разглядел, хотя какие-то проблески были заметны уже в первые дни. Никто из нас не мог сблизиться с ней, и было трудно определить, что в ней было настоящим, а что – рабочей маской, используемой в заведомо чуждой обстановке.

Это Билл подсказал мне, что она очень уж отчуждается, замыкается в себе. К тому времени желание подставить ей плечо, на которое она могла бы опереться, было продиктовано уже не только рабочей необходимостью или простым человеческим милосердием; впрочем, некий элемент расчета тут все же оставался... оставался по сути, хоть и изменился по характеру. В Лос-Анджелесе я (или кто-нибудь вроде меня) был ей необходим; но открытым оставался вопрос: а нужен ли я буду ей где-нибудь еще? Все это вовсе не означает, что мы не испытывали друг к другу настоящей привязанности. Я мог бы влюбиться в нее по уши и стал бы невыносимо требовательным, предъявляя на нее собственные права; но я слишком часто грешил этим прежде, чтобы не знать, что стремление лишить партнера независимости прямым путем ведет к беде. Желание обладать тесно связано с желанием изменить, переделать; а она очень нравилась мне такой, какой была. Так же как фраза «Я верю в Бога» часто означает просто «Я верю, что нет необходимости думать», слова «Я тебя люблю» слишком часто оказываются иносказанием «Я хочу обладать тобой». А я искренне не хотел лишать Дженни той свободы, которую она так стойко провозглашала; и к тому же я все-таки любил не только ее тело, но и ее независимый характер.

Слезы ее были – отчасти – слезами избалованного ребенка, всего лишь киношными глицериновыми каплями, но только отчасти; были и настоящие. А я опустил до шантажа. Мы с ней забудем этот вечер, его не было никогда. Она прилетит в Англию, как только освободится. Мы разлучаемся ненадолго. «Тренируемся», – сказала она, и я ей не возразил.

Потом я поехал к себе, в Бель-Эр, где ни один англичанин в Лос-Анджелесе не может позволить себе жить и где я мог жить лишь благодаря доброте старых друзей. Один из моих первых сценариев для «Колумбии» не был одобрен на студии, и тогда пригласили Эйба Натана помочь мне переделать текст. К тому времени Эйб более или менее отошел от дел, но его все еще приглашали в критических ситуациях. Я был уязвлен и приготовился невзлюбить его сразу и навсегда. Но не все студийные решения оказываются чепухой на постном масле. Сценарию нужен был «врач», а мне – хороший урок; и мне по душе пришелся профессионализм Эйба, а еще больше – он сам, а потом и его жена Милдред, когда я с ней познакомился. Он мог носить типично голливудскую ливрею, ту самую, что старый Голливуд напяливал на всех своих высокообразованных рабов: он мог быть циничным, мрачным, мог браниться и богохульствовать, подозревать в подлейших замыслах всё и вся... но ему катастрофически не удавалось скрыть тот факт, что этот его образ был в огромной степени лишь защитной мимикрией (развитием

у безвредных особей внешности особей опасных) и что за язвительностью прячется пронизательный, гуманный и готовый к восприятию иного мнения интеллект. С тех пор я давал ему прочесть каждый мой новый сценарий. И хотя рецепты мастерства, принятые в пору его расцвета, уже не работали, Эйб сохранил острый нюх на слабые места рецептов новых, да и на многое другое помимо этого.

Милдред и Эйб живут в более запущенном, менее роскошном секторе Бель-Эра, там, «где перепелки все еще кричат по-испански». Их имение славно даже не роскошным домом... даже не бассейном, хоть я сейчас вроде занимаюсь восхвалением от противного, а замечательным запущенным садом, где там и сям нелепо торчат классические статуи из не поддающегося погодным влияниям пластика – декорации какого-то давно забытого фильма о Древнем Риме, и с «Хижинкой» на холме. Эйб построил ее для себя – писать там сценарии, но давно уже отдает ее мне в полное владение, когда я приезжаю в Лос-Анджелес. Там нет пары-тройки тех удобств, что в отелях, но зато «Хижина» хоронится в густой зелени и в звоне птичьих голосов. Я могу оставаться там, наверху, в полном одиночестве или быть с Эйбом и Милдред внизу, в большом доме. Я не люблю Лос-Анджелес, все с большим и большим отвращением отношусь к знаменитой сотне его пригородов, стремящихся стать городом. Но Эйб, Милдред и «Хижина» могут и ад сделать местом вполне удобоваримым.

Вернувшись туда, я сразу же упаковал чемодан и даже ухитрился часа четыре поспать, меня разбудил опять-таки голос Дженни – по телефону. Ее тоже только что разбудили по телефону – дежурный, в назначенное время. Она уже взяла себя в руки, разговаривала спокойно, извинилась за ночные «глупости». Мы и в самом деле нужны друг другу. Я поговорю насчет «Хижинки», если Дженни хочет переехать. Позвоню из Англии, как только смогу.

Я спустился в большой дом. Эйб уже встал и, пока я рассказывал ему о том, что случилось, напоил меня кофе. Разумеется, Дженни может пожить здесь, в «Хижинке», если хочет; в любом случае они с Милдред позаботятся, чтобы она не чувствовала себя слишком одинокой. Именно этого мне и хотелось, и не просто ради доброты душевной, а потому, что Эйб и его жена – потрясающее воплощение еврейского здравого смысла и новоанглийской^[53] открытости. Рядом с ними никакие тайны долго не выживают, Дженни необходимо узнать их поближе в мое отсутствие, стать на время их дочерью-шиксой^[54], а не моей хорошенькой и умненькой пассией-англичанкой. Еще я очень надеялся, что, стоит ей изложить им мою версию наших с ней отношений, они тотчас же примут мою сторону. Они с одобрением относились к Дженни как к личности, но не могли одобрить соращения младенцев с пути истинного. Кроме того, они гораздо больше знали о моем прошлом, чем она... и о моих недостатках.

Здесь присутствовало и кое-что еще, более важное: мой отъезд позволял одним махом решить сразу две проблемы, ведь наши отношения возможны были лишь внутри той культуры, где люди никогда не стареют (особенно если они богаты и добились успеха) и где считается нормой отдавать молодость и красивое тело в обмен на богатство и успех. Я видел достаточно браков, где жены вполне годились в дочери своим мужьям. И вовсе не всегда эти девочки были «платиновыми блондинками», «ночными бабочками» прежних времен; чаще всего это были серьезные, скромные молодые женщины, они даже держались с достоинством, или, возможно, это была просто удовлетворенность: ведь им удалось уйти от сереньких будней, неизбежной судьбы тех, кто молод, а за душой – ни гроша. И на мой взгляд, если кто тут и оказался в дураках, так это мужчины; а Дженни, помимо всего прочего, обладала немалой толикой здравого смысла и слишком ценила привычные ее поколению свободы, чтобы отказаться от возможностей, какие сулило ей будущее... как бы я ни старался ее от этого отвратить. Она вбила себе в голову (или специально для меня делала вид), что прекрасно знает все за и против, что я, как она яростно утверждала (слишком яростно, чтобы это звучало убедительно), – самое лучшее, на что она может рассчитывать. Но эта ерунда будет неминуемо опровергнута самим ходом

времени. Я не имел права поддерживать это заблуждение и категорически не желал расплачиваться собственными чувствами за ее разбитые иллюзии.

Думаю, опыт жизни с Нелл сыграл здесь не последнюю роль, совершенно по Фрейдю. Совместная жизнь с женщиной стала казаться мне ситуацией искусственной, псевдотеатральной по самой своей природе; то есть областью отношений, где выдумка и тайна столь же важны, как истина и откровенность. Мне всегда нужна была тайна. Я говорю об этом без тщеславия – просто констатирую факт. Я живу, постоянно сознавая, как много принял неправильных решений, от которых теперь мне свою жизнь не очистить; единственное, что остается, – прятать их от моих дорогих дам... во всяком случае, эта теория осуществляется на практике. И вполне может быть, что я привязался к Милдред и Эйбу просто потому, что они так явно опровергают эту мою теорию, самым своим существованием доказывая, что могут быть отношения гораздо лучше и теплее. Эти двое помогли определить мое «англичанство» уже тем, что были напрочь лишены его сами. Как-то раз я страшно возмутил их утверждением, что в значительной степени английский антисемитизм, как и английский антиамериканизм, родился из обыкновенной зависти. Объяснение обычного зла невозможностью достичь чего-то или утратой такой возможности было для них неприемлемо. «Ах вы, сукины дети, – прорычал Эйб, – вас, бедных, лишили возможности гибнуть в газовых печах!» – но не в этом суть.

Мы оторвались от земли. Минуту спустя, откинувшись в кресле, я мог разглядеть Бер-бэнк и крыши уорнеровских студий, где Дженни, должно быть, уже начинала первые съемки дня. И тут я понял, как виноват перед ней, в душе всколыхнулась нежность, желание обречь, защитить... Она никогда не станет выдающейся актрисой, какой, видимо, была когда-то та пожилая женщина, с которой я вчера разговаривал; и я видел – к этому Дженни еще не готова, не готова примириться с грядущими компромиссами, с тем, что выбор будет становиться все уже.

Самолет набирал высоту, шел на восток над пустынными горами Северной Аризоны, над игрушечной пропастью Большого каньона; мы с Дженни собирались проехать по этим местам, когда она закончит работу. Но сожаления о наших несбывшихся планах я не испытывал, ведь помимо возрастной пропасти нас разделяла еще одна. Жизнь, какую мы вели в Лос-Анджелесе, позволяла не брать ее в расчет, словно и эта пропасть была всего-навсего игрушечной, тривиальной, имеющей лишь преходящее значение; но в ином контексте, на твердой земле – я знал – это стало бы труднопреодолимым препятствием. Вина была моя, в том смысле, что я сам сделал из этого еще одну тайну о прошлом и вполне успешно ее хранил... хотя на этот раз не только от Дженни.

Поначалу мои отношения с Энтони – а мы учились в одном и том же колледже, на одном курсе и жили в одном доме, разделенные лишь одним лестничным пролетом, – были всего лишь шапочным знакомством и переросли в дружбу именно из-за этой «тайны». Я уже привык к тому, что этот секрет из прошлого глубоко захоронен, но само прошлое тогда еще не отодвинулось далеко, так что раскопать его, хотя бы частично, не составляло труда.

Летний семестр 1948 года, первый курс; в тот день я случайно заглянул к нему в гостиную. Уходил слуга, которого несколько студентов нанимали в складчину, и я собирал деньги на прощальный подарок. На столе у Энтони, в банке из-под джема, я увидел цветок – стебель игольчатой орхидеи *Aceras*. И минуты не прошло, как обнаружили общие интересы, хотя у меня они были теперь скорее лишь воспоминаниями, эхом прежних дней. У Энтони это было гораздо серьезнее: так же, как многое другое в его жизни, интерес к ботанике мог быть только методичным, постоянным и глубоким или – не быть вообще. О ботанике как о науке я узнал в школе достаточно, чтобы ориентироваться в старом издании «Определителя растений» Бентама и Хукера, хранившемся у нас дома; а подростком увлекся мистическим очарованием орхидей. Я больше ни в чем не признался Энтони, не признался в существовании тайного и

полного смысла континента, каким в период моего созревания была для меня природа. Я стыдился этого уже тогда, и ничто, даже его гораздо более глубокие познания в этой области, не могло побудить меня открыть ему правду... ни тогда, ни позже.

Я всегда считал, что Энтони серьезнее и интеллектуально выше нас всех, типичный ученый, постигающий классиков древности. Он был довольно строг в одежде и обычно шел через наш квадратный дворик заученно быстрым, целеустремленным, решительным шагом: я уже тогда видел в этом некоторую нарочитость. Друзей у него было не много. С другой стороны, хоть здесь и приходится оперировать детскими понятиями, он не был ни горбуном, ни очкариком, однако не принадлежал и к заядлым спортсменам. Он был чуть выше меня ростом, с правильными чертами лица и слегка вызывающим взглядом, впрочем, это последнее объясняется его совершенно несвойственной англичанам манерой во время разговора смотреть прямо в лицо собеседнику. А теперь, когда мы говорили об орхидеях, я обнаружил, что взгляд его может быть веселым и дружелюбным. Ему хотелось узнать побольше: где именно я собирал растения, насколько серьезно к этому отношусь. Думаю, я был польщен: этот столь разборчивый и, по всеобщему мнению, блестящий молодой ученый, явным образом – будущий профессор, нашел для меня время! Он как-то заметил, уже много лет спустя, когда я подсмеивался над ним из-за газетной статьи – вопиющем вранье о явленных где-то в Италии стигматах^[55]: «Поразительно, что ты не веришь в чудеса, Дэн. Как иначе могли бы мы встретиться?»

Вскоре он взял меня с собой в Уотлингтон; за этой поездкой последовали другие; мы все больше узнавали друг о друге. Но первые барьеры между нами мы преодолели из-за орхидей. А барьеров хватало: мы были очень разными, даже в том, что касалось колледжа и университета. Я уже тогда пописывал в журналы, уже приоткрыл дверь в университетский театр; изо всех сил старался казаться легкомысленным и фривольным (напяливая абсолютно несвойственную мне личину); тратил минимум времени на университетские занятия. Я был знаком с уймой людей, тогда я сказал бы, что у меня уйма друзей в Оксфорде, но все они были вроде меня: мы встречались, одевались напоказ, щеголяя друг перед другом, остряли и всячески развлекались, объединенные не столько взаимной привязанностью или общими интересами, сколько общим стремлением покрасоваться. Характер мой очень изменился, пережив истинную революцию, по сравнению с тем, каков я был подростком и даже каким был, когда приехал в Оксфорд после военной службы. Я от многого отказался. Я словно писал себя как героя пьесы и был не только персонажем, ролью и ее исполнителем – актером, но и автором, усевшимся где-то в партере и восхищающимся тем, что он написал. Все мои тогдашние «друзья» тоже существовали более или менее на сцене; Энтони отличался от них тем, что сидел в партере вместе со мной.

Что же касается орхидей, то здесь я полностью разделял его взгляд на вещи: подобные интересы следует держать про себя, посвящая в них лишь собратьев-энтузиастов и не надоедая этим никому другому. Энтони вовсе не любил природу: этого я так тогда и не понял. Просто «в поле» он любил решать ботанические головоломки, что, на мой взгляд, можно отнести и к его теперешним профессиональным занятиям философией.

Впрочем, у меня никогда не хватало терпения (или интеллектуальных способностей) читать его книги. Когда Энтони стал профессором, философия, как когда-то ботаника, превратилась для него в нечто сокровенное, о чем не говорят в мире непосвященных. Еще одно открытие снизошло на меня гораздо позже: Энтони вроде бы заменил мне отца, хотя мы с ним были почти ровесники. В то время такая мысль возмутила бы меня до глубины души и искоренила бы всякую возможность дружбы с ним, тем более что – как я полагал – я сознательно «искоренил» в себе самый дух отца и его устаревшего мира. Не знаю, понимал ли это Энтони. Ему хватило бы проницательности осознать это, хотя не хватало времени на Фрейда. Я хочу сказать, он принес мне огромную пользу в том смысле, что смог возродить – пусть даже не полностью и лишь на какие-то промежутки времени – те личностные качества (или ту нераз-

решимую дилемму), от которых я так неразумно стремился отречься; но и вред – в том смысле, что наши отношения с ним походили на прогулку по минному полю.

В наших походах за орхидеями моя роль сводилась к роли туземца-охотника: я выслеживал дичь, а убивал ее он. Самым волнующим для меня было отыскивать редкостные экземпляры: первого в моей жизни (и, увы, последнего) губастика, недалеко от Горинга, и одинокую ночную фиалку у подножия облитой солнцем рябины на краю буковой рощи в Чилтерне. Для него же поистине райским местом был сырой луг, изобилующий скучными, давно всем известными пальчатокоренными орхидеями: он с наслаждением их обсчитывал, измерял и отмечал степень гибридизации. Мне хотелось разыскивать цветы, ему – открывать новые подвиды. Я переживал (и тщательно скрывал это) поэтические мгновения; он жил научными трудами Дрюса и Годфери.

Одинокое детство приучило меня искать прибежища в природе – как в поэме или мифе; природа была для меня катализатором чувств, единственным доступным мне тогда театром; на девять десятых она воздействовала на эмоции подростка, возвышая их и очищая, но – помимо того – обретала ауру тайны и магии в некоем антропологическом смысле. Многие годы своей взрослой жизни я провел в отрыве от природы, но долгие травмы поры взросления оставляют глубокие следы. И нужно совсем немного – увидеть цветущий сорняк у подножия бетонной стены или как птица пролетает мимо окна городской квартиры, – чтобы снова погрузиться в давние ощущения; а когда удастся вот так восполнить потерю, я уже не в силах противиться этому погружению, возрождению прежнего себя. Я боялся поехать с Дженни по Америке просто потому, что знал: с ней нам придется миновать слишком много мест, где один я обязательно сделал бы остановку; я остановился бы там не как серьезный натуралист, хоть мне и не трудно было бы притвориться, но как одинокий обиженный ребенок, когда-то прятанный в зелени девонских лесов.

Вся эта сторона моей натуры напрочь подавлялась в антисептическом присутствии Энтони, тем более что тогда я не считал его целеустремленность недостатком: эта его черта просто доказывала, что сам я в глубине души был слишком мягок и незрел. Ложь об этой стороне моего существа началась с Энтони... с Нелл и Джейн тоже.

На первом курсе я был едва знаком с Джейн; о ней уже говорили практически все, она с блеском выступила в Театральном обществе Оксфордского университета, а я прекрасно понимал, что слишком зелен и до этого уровня еще не дорос. Нелл тогда еще не появилась. Однажды в «Кемпе», желая покрасоваться перед Энтони, я познакомил его с Джейн. Она стонала, что не понимает Декарта, о котором надо писать курсовую; Энтони принялся ей объяснять. А я должен был пойти на консультацию к своему руководителю и оставил их вдвоем, втайне посмеиваясь, что эти двое, такие разные, смогли найти хоть в чем-то общий язык. Все произошло не так уж быстро. Кажется, Энтони в том семестре успел сходить куда-то вместе с ней пару раз. Летние каникулы они провели врозь, но, видимо, писали друг другу; а к концу календарного года они уже были вместе. И тут приехала Нелл – мой утешительный приз. Она была милостивее Джейн, и маска пустынной сексапильки еще пряталась под строгой сдержанностью первокурсницы. Я думал, что мы абсолютно подходим друг другу – все четверо. Мне нравилась Нелл, я наслаждался ее обнаженным телом, когда получил к нему доступ, и весь второй курс это не давало мне осознать, каковы мои чувства на самом деле.

В оставшиеся два студенческих лета Джейн и Нелл часто сопровождали нас в походах за орхидеями и всегда подшучивали над нами – каждая по-своему. Я не хочу изображать Энтони человеком, лишенным чувства юмора, но все в его жизни было всегда разложено по полочкам. Всякое увлечение – признак дурного вкуса. Он редко подсмеивался над собой, но охотно смеялся, когда нас поддразнивали девчонки. Фраза «Пожалуй, я сейчас набросаю этот лабеллум^[56]» стала у нас расхожей шуткой. Я никогда не мог с уверенностью сказать, что именно она означает, но стоило кому-то из нас ее произнести, как мы корчились от подавляемого смеха.

Мы пользовались ею чаще всего в отношении посторонних. И каким-то образом посторонним, вроде бы лишним, становился Энтони; кроме того, шутка помогала скрыть правду: по-настоящему лишним в этой компании был я. Для девушек эти походы были просто поводом для прогулок без определенной цели и маршрута, ленивых завтраков на траве, наслаждения соловыми трелями у Отмура, пока мы с Энтони занимались сбором растений; для него это было как бы решением очередного кроссворда, он мог заняться конкретными предметами, отдохнуть от отвлеченных идей. Для меня же это было всем тем, что я утрачивал навсегда.

Когда, уже много позже, после развода, после витриола, я почувствовал, что мне удалось наконец взглянуть на эту сторону себя самого с некоторого расстояния, решить проблему показалось мне проще простого. Но после всего, что произошло, пустить новые корни в старую почву оказалось много труднее, чем я себе представлял. На ферме в Девоне я скучал, страдал от одиночества; обнаружил, что магия этих мест, до сих пор жившая в моей памяти, куда-то исчезла и что природа в реальности однообразна и постоянно повторяет себя. Разумеется, я просто не видел тогда, что та, прежняя магия рождалась из прежних утрат; сегодняшние же утраты относились к тому, что я сам создавал, чтобы восполнить прежние. И я принялся странствовать с места на место, все чаще работая вдали от Торнкума. Чем чаще я покидал ферму, тем приемлемее становились для меня те места.

К тому же я попался в сети иной магии, иного мифа, еще менее подлинного, чем прежний, ибо как раз в это время я добился успеха в мире кино и мне представились новые возможности... родственные если не по характеру деталей, то по сути моей реакции на Оксфорд: я снова мог носить маску, создать персонаж... снова мог писать самого себя. Меня ослепили золоченые химеры успеха: счастье постоянной работы, ощущение, что ты нужен и в то же время не должен быть привязан к одному и тому же месту, жизнь в самолете, международные звонки из-за океана и долгие телефонные разговоры ни о чем. Я стал на одну треть американцем и на одну треть евреем; одну английскую треть я либо доводил до абсурда, либо подавлял – в зависимости от обстоятельств. Дженни права: я пользовался своим «англичанством» как оружием, когда мне докучали, и отказывался от него, если на душе было легко, приспособив свою английскую треть для роли Золушки. Ее безжалостно эксплуатировали две другие мои трети.

Я стал даже подумывать о том, чтобы избавиться от Торнкума, ведь я так редко там бывал. Я расстраивался, возвращаясь после долгих отсутствий: казалось, Торнкум глядит на меня с молчаливым упреком, как всегда бывает, если дом и сад надолго забыты хозяином. Я видел, как выросли дерево или куст, посаженные мной, и с тоской думал о том, как близко и точно знал когда-то каждодневную жизнь маленького мирка вокруг, тосковал о знании, близком и понятном лишь крестьянину. Тогда я снова влюблялся в Торнкум. И было уже не так важно, что через пару недель я снова почувствую беспокойство. Право было за Торнкумом. Не прав был я.

Может быть, в этом и есть суть «англичанства»: удовлетворяешься тем, что несчастлив, вместо того чтобы сделать что-то конструктивное по этому поводу. Мы гордимся своей гениальной способностью к компромиссам, которая на самом деле не что иное, как отказ сделать выбор, а это, в свою очередь, по большей части – результат трусости, апатии, эгоистичной лени... но в то же время – и я с возрастом все больше убеждаюсь в этом – это есть функция собственного нам воображения, национальной и индивидуальной склонности к метафоре: гипотезы о самих себе, о собственном прошлом и будущем для нас почти столь же реальны, как действительные события и судьбы. Люди иной национальности, глядя на себя в зеркало, либо мирятся со своим отражением, либо предпринимают практические шаги, чтобы изменить его к лучшему. Мы же рисуем на зеркальном стекле идеал, мечту о себе самих, а потом барахтаемся в луже несоответствий. Ничто иное с такой силой не отличает нас от американцев, ничто лучше не может выявить разницу в использовании ими и нами одного и того же языка: для

них язык – лишь средство, орудие, даже когда создаются стихи; а мы относимся к языку как к стихам, даже когда используем его как средство; то же можно сказать и о невероятных семантических тонкостях в интонациях представителей английского среднего класса по сравнению с бедностью нюансов в речи их самых высокоинтеллектуальных американских собратьев.

Эти два диалекта представляются мне двумя реакциями на один и тот же феномен: страстное стремление к свободе. Американский миф – это миф о свободе воли в ее самом простом, первичном смысле. Ты можешь выбрать, каким быть, и заставить себя быть таким; и это абсурдно-оптимистическое утверждение настолько укоренилось в стране, что порождает все и всяческие социальные несправедливости. Неспособность достичь успеха свидетельствует о моральных, а вовсе не о генетических дефектах. Постулат «Все люди рождаются равными» переродился здесь в утверждение, что «ни одно приличное общество не может помочь тому, кто не сумел остаться равным». Этот миф настолько пронизывает все общество, что становится символом веры наиболее социально незащищенных, тех, кому более всех не следует в него верить. Я заметил, что даже самые интеллигентные либералы, люди вроде Эйба и Милдред, несомненно сочувствующие таким вещам, как медикэр^[57], десегрегация, экологический контроль и всякое такое, тоже заражены этим мифом и все еще тоскуют по старой доброй американской мечте о свободе, прохаживаясь насчет неравенства людей в других странах. С самого начала будущие американцы приезжали в Америку, стремясь избежать политической тирании и неравных возможностей в борьбе за жизнь, и так и не заметили, что эти две цели глубоко враждебны друг другу; что генетическое неравенство в жизни столь же несправедливо и велико, сколь и экономическое неравенство в старой Европе. Их система строилась на вере в то, что можно справиться с экономическим неравенством, поскольку энергия, талант и удача распределены всем и каждому поровну; теперь они расшибают себе лбы о рифы гораздо более глубокого неравенства.

Англичане, разумеется, тоже разделяли эти убеждения в шестнадцатом и семнадцатом веках. Но мы сумели давным-давно от них отказаться. Неравенство и несправедливость – в природе вещей естественны, как слезы Вергилия^[58], и мы изъяли свободу из реальной жизни. Свобода – порождение ума, утопия, где мы тайно укрываемся от обычного, каждодневного мира: все равно как для меня Торнкум, где я жил гораздо более в воображении, чем в реальности. Именно отсюда у нас, в Англии, и возникла необычайная терпимость к переживаемому страной упадку, к существованию по принципу «ни шатко ни валко»; отсюда наш социальный консерватизм и консервативный социализм. Наше общество в его теперешнем состоянии не что иное, как мертвая реальность, а не живой воображаемый мир: потому-то мы и создали язык, который всегда подразумевает больше, чем говорится, – в отношении как эмоций, так и мысленных образов. У американцев же наоборот: они обычно подразумевают и чувствуют гораздо меньше, чем привыкли говорить. Но в обоих случаях цель одна и та же – найти такое пространство, где можно ощутить себя свободным. Видимо, те, что хотят казаться циниками, живут в Америке; но циники, по сути своей истинные квиетисты^[59], проживают на Британских островах.

Я пытаюсь реабилитировать себя, а вовсе не толковать о различии культур. Мое отношение к природе, мое прошлое, мой Торнкум – все это, должно быть, результат моей собственной биографии, собственного генетического строения; но не в меньшей степени и того, что я – англичанин.

Однако счесть этот перелет от Калифорнии и Дженни в Англию, как и вчерашний приступ жалости к себе, конструктивной (то есть американской) реакцией на все происшедшее было бы неоправданным заблуждением. Серьезного желания исследовать собственное прошлое или реконструировать его в какой бы то ни было форме я вовсе не испытывал; но, разумеется, тут я малость передергиваю. Никто не станет ничего тщательно продумывать, если

нет иной причины, кроме наличия свободного времени. Абсурдно было бы предположить, что человек, поклевывающий носом в салоне «Боинга-707», высоко над однообразно прямоугольными пшеничными полями американского Среднего Запада, может увязнуть в череде сменяющихся кадров из прошлого, не имея ни малейшего представления о том, чем он, собственно, занят.

Возможно, единственным симптомом грядущей смены жизненного пути был симптом отрицательный. У меня в голове не было ни одного нового проекта, кроме злополучного сценария о Китченере. Отделаться от него я не мог – заключенный контракт не давал мне такой возможности; но и сам герой, и период, о котором нужно было писать, были мне неинтересны, и весь тот месяц, что я возился с подготовкой материала, у меня скулы сводило от скуки. Каро, моя дочь, теперь уже работала, Нелл вышла второй раз замуж, так что у меня не было даже того предлога, что я нуждаюсь в деньгах, нужно было искать иные мотивы; и я решил, что, по-видимому, мне необходимо обосновать чувство презрения к самому себе, создать ту самую последнюю соломинку, которая переломит спину условному верблюду.

Вспоминаю, что, когда мы – Энтони, Джейн, Нелл и я – проводили лето в Риме, мы остановились как-то перед гротескно-смешным полотном, изображающим самобичевание какого-то святого. Даже Джейн, к тому времени уже обратившаяся в католичество, нашла картину смехотворной, католическую веру в ней – доведенной до абсурда, что позволило Энтони прочесть нам лекцию – о принципе, пусть и не о конкретном воплощении этого принципа: о том, что умерщвление плоти универсально, ибо абсурдно и необходимо. В те дни Энтони многое обосновывал принципом абсурдно-необходимого, некую сторону своей жизни тоже, а я не придавал этому большого значения, так как уже тогда овладел искусством не причинять себе неприятностей. И вот теперь, двадцать лет спустя, я бичевал сам себя сценарием о Китченере – человеке, который чем больше я узнавал о нем, тем неприятнее мне становился; к тому же в перспективе меня ждали значительные технические трудности, да еще мне не разрешили написать – из-за невероятной дороговизны съемок – сцену гибели крейсера, единственную, которая могла мне прийти по душе: какое удовольствие было бы видеть, как занудный старый хрыч навеки исчезает в оркнейских волнах.

Что последует за этим, было мне неизвестно. И на самом деле я летел не в Нью-Йорк, а оттуда – домой: я летел в пустое пространство.

ЗОНТ

Что может помнить пламя? Если помнит чуть меньше, чем необходимо, оно погаснет; если чуть больше – погаснет тоже. Если б только оно могло нас научить, пока пылает, что́ нужно помнить.

Георгос Сеферис. Человек

Моя мать умерла незадолго до моего четвертого дня рождения, и я совсем не могу ее припомнить; помню только расплывчатый, призрачный силуэт кровати, а над ним – утомленное коричневое лицо, коричневое из-за аддисоновой болезни^[60], ее убившей. Отец мой был абсолютно некомпетентен во всем, что касалось домашнего хозяйства, и одна из двух его незамужних сестер переехала к нам задолго до смерти матери. То, что я был сыном пастора, облегчало ситуацию. Когда я был маленьким, никаких сомнений в том, что то коричневое лицо теперь «на небесах», у меня не было. Хотя бы в этом мне повезло с происхождением: четыре поколения священников англиканской церкви и заменившая мне мать тетушка, из которой могла бы выйти милейшая и добрейшая англиканская монахиня. Тетя Милли была неизменно предана творению добра, и я горько сожалею (а горьких сожалений – в отличие от просто сожалений – у меня не так уж много) о том, что в свое время не смог оценить ее по достоинству. Ей приходилось выдерживать все удары, которые я не решался обрушивать на голову собственного отца. Ребенком я воспринимал ее как нечто само собой разумеющееся; когда вырос – презирал за безвкусицу в одежде и недалекость; на ее похоронах десять лет назад у меня в глазах стояли слезы... может быть, это хоть немного смягчит мой приговор в день Страшного суда.

Отец всегда казался мне очень старым, похожим больше на деда, чем на отца. Он поздно женился, ему одного года не хватало до пятидесяти, когда родился я, и с тех пор, что я его помню, он был уже почти совсем седым. Если бы я попытался одной фразой охарактеризовать его отношение ко мне, я сказал бы, что это было что-то вроде отстраненного и комичного замешательства. По фотографиям довольно ясно видно, что мать моя была далеко не красавицей; ей было тридцать, когда они поженились, и образ ее окружала некая тайна, в которую я так никогда и не смог проникнуть. Вне всякого сомнения, ничего греховного она совершить не могла, скорее это было связано с каким-то безрассудством со стороны отца. Он никогда не вспоминал о ней; вспоминала о ней тетя Милли, и всегда добрыми словами (о ее мягкости, уважении к отцу, о ее музыкальных способностях), что заставляло предполагать существование какого-то – вполне простительного – недостатка. Одним таким недостатком, несомненно, было ее происхождение. Она была прихожанкой отца в Шропшире, где он служил до того, как я появился на свет, а родители ее были бакалейщики, вполне благополучные «торговцы провизией», как говорила моя тетушка. Как и ее сын, она была единственным ребенком в семье. Кажется, она приобрела репутацию деревенской «старой девушки», когда умерли ее родители: образованной, с хорошим доходом, но – как я полагаю – с печатью «торгового» происхождения. Она играла на органе в церкви моего отца. Не могу представить себе, что там произошло: то ли каким-то образом, по-деревенски наивно, она устроила ему ловушку, то ли это была встреча двух сексуально робких людей – ученого и мещаночки, нашедших прибежище в объятиях друг друга.

Значительно позже, уже в пятидесятых, пришло письмо – совершенно неожиданно – от какой-то женщины, прочитавшей в газете мое интервью и сообщавшей, что она – моя троюродная тетка. Письмо было в основном о ней самой, о том, что она держит магазин одежды в Бирмингеме; но она помнила мою мать до замужества, помнила, что та прекрасно шила и что у нее в саду росла мушмула. И что она не знает, почему ей вдруг вспомнилась мушмула (она писала «мушмала»). Я ответил на письмо очень вежливо – тоном, который исключает даль-

нейшую переписку. Когда я купил Торнкум, я разыскал и посадил в саду деревцо мушмулы, но оно засохло через два года.

Отец. Только уехав в школу-интернат, я понял, как невероятно скучны были его проповеди; объяснялось это отчасти полным отсутствием у него чувства юмора, а отчасти тем, что всю жизнь он витал высоко над головами своих деревенских слушателей. Он вовсе не был глубоко религиозным, полным святости человеком, даже по скромным меркам англиканской церкви. Он был, пожалуй, теологом, но особого рода, как если бы армейский офицер заинтересовался историей своего полка. Он собрал целую коллекцию проповедей и статей семнадцатого века о догматах веры, но так и не смог перенести красноречие и яркие образы того времени на свою церковную кафедру. Я, бывало, ежился от смущения, сидя на скамье в храме, когда видел, как ерзают прихожане, слушая его монотонный голос: у него был совершенно особый голос, когда он читал воскресные проповеди, и самые дерзкие мальчишки из деревни взяли себе манеру его передразнивать, особенно если я оказывался рядом, а взрослые слышать их не могли. Проповеди отца тянулись бесконечно, чуть не до самого воскресного ленча, или, как его чаще называли, «ленчена». С тех пор я полюбил простоту и лаконичность. В этом – как и во многом другом – отец воспитал меня «от противного».

Когда я был еще на первом семестре в Оксфорде, незадолго до его смерти, я послал ему арберовский репринт проповеди «О пахарях», прочитанной Хью Латимером^[61] в 1548 году. Проповедь эта – один из величайших образцов ритмической поэзии в прозе за всю историю английской речи, не говоря уж об английской церкви. Отец поблагодарил меня, никак иначе на это не отозвавшись. По-видимому, молчанием он хотел по возможности мягко мне отомстить за подарок, но я подозреваю, что он увидел в этом некий знак, надежду, что мои сомнения (он полагал, что я все еще сомневаюсь) в конце концов смогут преодолеть «риффы высшего образования» – это выражение я как-то услышал в его проповеди на одну из постоянно волновавших его (и никому в деревне не интересных) тем: о пополнении священнических рядов.

Он никогда, если не считать редких замечаний походя, не затрагивал злободневных событий в своих проповедях. Они были неизменно выхолощенными и до предела сухими. Во время войны один более или менее образованный церковный староста осмелился заметить ему, что упомянуть пару раз о происходящем было бы весьма кстати; но отец не сомневался, что в деревне и так достаточно слышат об этом по радио и читают в газетах, и твердо держался раз и навсегда взятого курса. В другой раз, опять-таки во время войны, негр-капеллан с расположенной поблизости американской военной базы читал проповедь в битком набитой отцовской церкви; прихожане явились не из религиозного благочестия, а из любопытства: посмотреть, как будет *представлять* этот загадочный шимпанзе. У капеллана был прекрасный голос, и держался он замечательно, в его манере было что-то от «возрожденца»^[62]; в нем было столько тепла и доброты – он нас совершенно потряс. Но не отца: обозлившись – что он очень редко позволял себе, – отец потом, наедине со мной, обвинил его в «сверхэнтузиазме». Он, конечно, употребил это слово в чисто церковном смысле: на следующей неделе он потратил пятнадцать минут сверх положенного на проповедь об арианской ереси^[63], чтобы поставить нас всех на место.

Теперь-то я понимаю, что по-настоящему он больше всего боялся обнаженности чувств. Он вкладывал необычный смысл в слово «демонстрировать», перетолковывая, расширяя его значение так, что оно включало всякое проявление гнева, убежденности, слезливости... любое проявление сильного чувства, каким бы невинным или оправданным оно ни было. Любой из приезжих проповедников, проявивший чуть больше рвения, несогласные участники деревенских споров, даже я сам, несправедливо обвиненный в каком-то проступке: «...если бы только этот добрый человек меньше полагался на демонстративные жесты; все эти демонстрации не способствуют решению проблем этой дамы; не следует так демонстрировать свои чувства, Дэниел». Он вовсе не ожидал, что я промолчу, имея разумные основания возражать;

просто я осмелился проявить естественный темперамент, пытаюсь оправдаться. Это слово – в моем случае – подразумевало множество самых разных вещей: угрюмость, радость, взволнованность, даже обычную скуку. У отца существовало какое-то необыкновенное платоническое представление о совершенстве человеческой души, где отсутствовали или напрочь подавлялись любые чувства, проявления которых он называл «демонстрацией». Я с ужасом думаю о том, как он отнесся бы к современному политическому смыслу этого существительного и соответствующего ему глагола.

И все же, раз уж (или, может быть, поскольку?) англичане – это англичане, он считался в приходе очень хорошим человеком. Он был бесконечно терпелив с самыми сварливыми старыми девами, с сочувствием относился к (несколько) более просвещенным прихожанам. Как и во многих других девонских деревнях, у нас не было своего сквайра^[64]; в округе было несколько домов довольно крупных землевладельцев, куда мы ездили в гости, но в самой деревне отец был де-факто, социально и символически, как бы вождем племени: он заседал во всех комитетах и комиссиях, с ним консультировались, к нему обращались за советом по любому поводу. Думается, он вполне подходил для этой роли. Сам он в это искренне верил, что лишний раз доказывает, что он не был глубоко религиозен. По-настоящему он верил в определенный порядок и в то, что по праву занимает свое пусть и не слишком, но все же привилегированное место в этом порядке. Существовали крестьяне, фермеры и владельцы магазинов; во время войны появились самые разные эвакуированные – пожилые люди, поселившиеся в арендованных домах; и были люди, подобные нам. Мне никогда не позволялось ни на йоту усомниться (может быть, потому, что правда о происхождении матери могла такое сомнение породить), какое место в обществе мы занимаем. Доказательство постоянно висело перед глазами, на стене нашей столовой: портрет маслом моего прадеда, который был – подумать только! – епископом. Справедливости ради следует сказать (даже если бы его женитьба не была тому доказательством), отец вовсе не был снобом. Может, мы и повыше рангом, чем все другие в деревне, но не должны никому дать это понять. Нельзя проводить различие между теми, с кем нас обязывает общаться пасторский долг, и теми, чье общество приятно нам по социальному уровню.

По существу, отец представлял собою пусть не классический, но достаточно тонкий пример того, почему военные и церковники – крест и меч – так часто кажутся двумя сторонами одной медали. Он не был суровым человеком, несмотря на отсутствие чувства юмора, которое порождалось скорее его непреодолимой рассеянностью, чем неодобрительным отношением к смеху вообще. В его характере не было ничего, что делало бы его домашним тираном; на самом деле он был терпим там, где другие отцы выходили бы из себя, молотили бы кулаками по столу; и я уверен, он был терпелив со мной вовсе не потому, что я был единственным ребенком и – формально – рос без матери. До четырнадцати лет, когда я уехал в школу, я был далеко не ангелом, но отец никогда не прибегал к телесным наказаниям. Он не одобрял их – ни дома, ни в деревенской школе, – хотя все-таки отправил меня в интернат, где младшие ученики каждые две недели подвергались порке с монотонной регулярностью. Царившая в доме тирания проистекала из безусловной веры в систему, в существующие общественные рамки. Как солдат не может подвергать сомнению приказы, иерархию командования и все, что с этим связано, точно так же были лишены этого права и мы. Можно было в крайнем случае высказать осторожное замечание о форме проповедей какого-нибудь священника из соседней деревни или покритиковать кого-нибудь из духовного начальства в Эксетере, даже самого епископа; но никаких сомнений в том, что они по праву занимают свое место, быть не могло. Во время войны все это, разумеется, было совершенно естественно: общество замерло в своем развитии, что и дало лейбористам возможность одержать победу на первых послевоенных выборах. Я думаю, совершенно неосознанно и вопреки тому, что Гитлер был архи-демонстративен, отец не мог не одобрять его за то, что ему удалось так надолго задержать социальный прогресс.

Я попытался отобразить все это в пьесе, построенной вокруг образа отца; еще одна параллель, там проведенная, важна, как мне кажется, и до сих пор. Речь идет о том, как англичане превращают внешнюю свободу (в отличие от свободы воображения) в игру по правилам, где допускается свобода совершать любые поступки, кроме тех, что могут нарушить раз и навсегда установленные правила. Подозреваю, что у англосаксов господствовало гораздо больше всяческих табу, чем у кельтов, которых они вытеснили из Англии. Если римляне принесли с собою цивилизацию, то германские племена принесли ритуальные коды, до сих пор живущие в нашей отвратительной способности изобретать игры по правилам, совершенствовать искусство убивать время в соответствии с чужими установлениями. Еще в школе (да и до сих пор) у меня вызывали особое отвращение командные игры, впрочем, тогда я объяснял это тем, что они были ярким символом всей садистской системы сотворения стереотипов. А теперь я вижу в этом неприятии еще один результат отцовского воспитания «от противного».

Жили мы очень скромно, хотя больше из приверженности пасторскому хорошему вкусу, чем из нужды. Наш приход (даже два прихода, поскольку в отцовском попечении был еще и соседний хутор) давал приличное обеспечение, и сверх того у отца было еще несколько сотен фунтов в год собственного дохода; были еще деньги моей матери, оставленные мне под опеку отца; даже у Милли были собственные сбережения. Этот образ жизни тоже стал казаться мне лицемерным, когда я подросток и обнаружил, что наша предполагаемая бедность была просто бережливостью. Вне всякого сомнения, много средств тратилось на благотворительность и на поддержание двух церквей в должном виде; но благотворительность никогда не распространялась на домашних – в том, что касалось подарков ко дню рождения, карманных денег и тому подобного. С тех самых пор я беспечен в отношении денег: еще одна статья в моем к нему счете.

У отца была одна истинная страсть, за которую его любила вся деревня, из-за нее же, правда с некоторым запозданием, он стал дороже и мне. Это была маниакальная любовь к садоводству. Хотя во время наших редких пикников он и бродил следом за мной, собирая растения, на самом деле дикой природы и диких растений он не одобрял. Он проводил некую аналогию между садоводством и тем, как Господь следит за окружающим миром; в природе же все происходит у тебя за спиной, ты не можешь следить за этим и контролировать происходящее. Во всяком случае, свой сад и свою теплицу он просто обожал. Садоводство и тексты семнадцатого века, которые он любил просматривать, были единственным его увлечением, а что касается садоводства – увлечением прямо-таки греховным. Если ему не удавалось достать отросток какого-то редкого куста, он не считал зазорным его стянуть, с таким небрежно-безразличным и вместе с тем виноватым видом, что можно было только восхищаться. Он всегда, даже в самые погожие дни, носил с собой зонт – прятать несправедливым путем добытые черенки и рассаду. Это было одно из немногих прегрешений, по поводу которых тетушке Милли и мне разрешалось его поддразнивать, и разрослось оно до совершенно чудовищных пропорций, когда в один прекрасный день кто-то из пострадавших оказался у нас в саду и обнаружил там процветающее потомство редкостного экземпляра из сада собственного. Отцу было так стыдно, что пришлось прибегнуть к прямому вранью о происхождении этого чуда, а мы уж постарались, чтобы он не забыл о происшедшем.

Самые теплые мои воспоминания – об отце, стоящем в теплице, в старом, напоминающем епископское одеяние фартуке из фиолетового сукна, который он надевал, когда занимался садом. Иногда, в жаркие дни, он снимал пасторский воротник, и ничего не подозревавшие чужаки принимали его за наемного садовника, какого мы, разумеется, не могли себе позволить. Когда я подросток, эта сторона его жизни стала меня раздражать, мне хотелось читать книги, бродить по округе во время каникул; но мальчишкой я любил помогать ему с рассадой и всем прочим. Он особенно любил выращивать гвоздики и примулы; посылал их на выставки цветов перед войной и до самого конца жизни участвовал в жюри этих выставок.

Сейчас это выглядит абсурдно. Завтрак, маленький мальчик влетает в комнату: *Osmanthus* проклюнулся! *Clematis arandii!* *Trichodendron!*^[65] Названия эти не были для меня латинскими или греческими, они были как имена наших собак и кошек – такие знакомые и любимые. У нас был и огороженный каменным забором огород, но овощи отцу были не интересны. Бережливость была забыта настолько, что дважды в неделю к нам приходил человек – специально заниматься огородом. Гордостью отца были фруктовые деревья: яблони и груши, посаженные еще прежними обитателями, и те, что добавил отец; старые шпалерные и кордонные посадки с ветками хрупкими, словно древесные угли. Я думаю, их до сих пор выращивают там: «жаргонелла» и «глу морсо», «мускатный бергамот» и «добрый христианин»; «коричные» и «пипины», «уродены» и «кодлинги», и безымянные – тети-Миллино дерево, «желтый дявол» – потому что эти яблоки загнивали в хранилище – и «зеленый пикант». Я знал их все по именам, как другие мальчишки знали членов крикетной команды и футболистов графства.

И я получил от него в дар не только поэзию сада: ему я обязан знакомством с поэзией в прямом смысле этого слова; но, как это часто бывает с дарами, полученными детьми от родителей, они дозревают долгие годы. Когда я был совсем ребенком, отец любил – или, во всяком случае, считал своим долгом – почитать мне что-нибудь на ночь, если не был занят. Порой, когда я стал чуть взрослее (но далеко не достаточно!), он читал мне отрывок попроще из какого-нибудь текста семнадцатого века: думается, больше из-за того, как звучит там английский язык, чем из-за религиозного содержания, хотя, может, и надеялся на что-то вроде эффекта Куэ^[66]. Время от времени он принимался рассказывать о том, что происходило в церкви в то время и какая борьба идей кроется за тем или иным отрывком, словами, понятными несмышленищу: так менее глубокомысленный папаша мог бы рассказывать о реальной истории взаимоотношений ковбоев и индейцев в Америке. Разумеется, подрастая, я мысленно рисовал довольно путанные картины того, как теологи разного толка грозят друг другу, размахивая ружьями и пистолетами, и полагал, что когда-то церковь была вовсе не таким уж скучным для пребывания местом.

Теперь я понимаю – отцу всегда хотелось, чтобы я был постарше; казалось, он предвидел, что, когда девятилетний ребенок, которому он читает на ночь, станет девятнадцатилетним, каким ему хочется этого ребенка видеть, такие беседы будут невозможны: я стану его избегать. Но мне не следует изображать отца слишком строгим и не от мира сего. Он почти никогда не возвращался из редких поездок в Эксетер, где обязательно проводил пару часов у букинистов, без подарка для меня: обычно это были книги для мальчишек писателей его детства – Генри^[67] или Тальбота Бейнза Рида^[68]; я бы, конечно, предпочел Бигглза^[69] или последний ежегодник Беано, но и эти книги я читал с удовольствием.

А однажды он привез мне из такой поездки книгу басен. Цена была проставлена на титульном листе: один шиллинг шесть пенсов. Он, очевидно, бегло просмотрел книгу, нашел, что язык достаточно прост и назидателен, а иллюстрации красивы и безопасны. Я же счел странные черно-белые картинки ужасающе скучными; на первый взгляд и вправду жалкий подарок. На самом же деле это был Бьюик^[70], антология 1820 года, гравюры на темы басен Гея^[71]. И хотя тогда я этого, разумеется, не понял, то была моя первая встреча с величайшим оригиналом Англии. Но мне было десять лет, и я счел, что подарок – смешная и постыдная ошибка со стороны отца, потому что, листая страницы книги, чтобы отыскать картинку, я наткнулся на одну, которой отец в магазине наверняка не заметил: это была знаменитая гравюра – доктор богословия презрительно отвергает мольбу одноногого нищего, в то время как позади него приبلудный пес мочится на его облачение, – крохотное моралите, блестящий лаконизм которого оставался в моей памяти все годы моего детства... да и потом тоже. Кроме того, там были совершенно скандальные сцены с гологрудыми дамами. Я был особенно потрясен – и зачарован – одной картинкой, озаглавленной «Праздность и ленивство»: спящий молодой человек, ночной горшок под кроватью, а рядом две женщины – одна нагая, другая полностью

одета; они что-то обсуждают, разглядывая спящего. У меня был соблазн продемонстрировать эту невероятную потерю бдительности тетушке Милли, но я удержался, опасаясь, что отец немедленно явится и конфискует книгу.

И до сих пор каждый раз, как мне случается взглянуть на творения Бьюика, я заново познаю, сколько в нем величия, сколько поистине английского; но даже тогда десятилетнему мальчишке оказалось доступным нечто значительное и глубоко личное, присущее этому художнику и отвечавшее его собственной натуре. Со временем, мало-помалу, он начинал видеть мир глазами Бьюика, как, несколько позже, учился воспринимать окружающее глазами Джона Клэра^[72] и Палмера^[73]. . . и Торо^[74]. И если когда-нибудь придется продавать книги, зачитанная книжица «Избранных басен» будет последней, с которой я смогу расстаться.

Нечто подобное произошло и двумя-тремя годами позже, когда я переживал первые муки полового созревания. В дождливый день, в тоске и отчаянии, я стащил с самой верхней полки в кабинете отца скучную на вид книгу. Это был первый том «Гесперид» Геррика^[75]; по доброй воле случая книга раскрылась на одной из самых грубых его эпиграмм, и я увидел напечатанным слово «пернуть»: до тех пор я полагал, что над такими словами можно лишь хихикать тайком, в школе, далеко от взрослых ушей. Наверху, в своей комнате, я стал читать дальше. Многое оставалось для меня непонятным, но поистине открытием явились для меня жестокость и эротичность тех стихов, что были мне доступны. В последующие годы я множество раз «заимствовал» эти два тома из кабинета отца.

Стихи оказали на меня глубочайшее влияние: таинственность, с которой приходилось похищать эти тома, переставляя книги на полке так, чтобы не зияли пустые места, необходимость запрягивать книги у себя в комнате. . . но была и иная таинственность, гораздо более полезная – лирический гений Геррика, его потаенная языческая человечность тоже мало-помалу проникали в мою душу. До его «злополучного» прихода в Дин-Прайоре ничего не стоило доехать на велосипеде, и я, наверное, был одним из самых юных его почитателей, когда-либо читавших эпитафию на его надгробном камне, хотя, думается, стоял я там не столько из благодарности поэту, сколько из всепоглощающего недоумения. Как могло случиться, чтобы человеку того же призвания, что мой отец, дозволено было создавать такие жестокие стихи?

Позднее, уже в Оксфорде, мне как-то пришлось подать руководителю курсовую о Геррике. Я был не настолько глуп, чтобы написать автобиографическую работу, однако под моим пером очаровательный, но небольшой поэт превратился в столп человеческого здравомыслия, высочайшее воплощение любви к жизни, – словом, для меня он был Рабле. «Очень интересно, мистер Мартин, – сказал мой руководитель, когда я прочел ему свое эссе. – Но тем не менее на следующей неделе, будьте добры, представьте мне работу о Геррике». Это язвительное замечание было вполне заслуженным; и все-таки, я ведь имел дело с человеком, который всего лишь прочел поэта. . . а не прожил.

Порой отец мой все же прибегал к цензуре. Еще одной книгой, которую он читал мне на ночь, были «Ширбурнские баллады»^[76]. Лишь после его смерти, когда я разбирал отцовскую библиотеку, чтобы отослать значительную часть книг букинистам, я обнаружил, что «Ширбурнские баллады» не просто переложение псалмов: насколько я помню, отец читал мне оттуда исключительно религиозные стихи. В подготовительной школе я уже начал заниматься сухой латынью и греческим, а отец читал мне английские стихи с подчеркнутой выразительностью, как это было принято в его школьные годы. Особенно его привлекали крупные формы, написанные в ритме античного пятидольника, в мощном ритме, столь любезном его слуху, что мы порой даже внимали этим балладам в воскресной школе. Отец стоял на кафедре, размахивая свободной рукой, словно дирижер за пультом, а я мучительно краснел, слыша, как мальчишки вокруг подавляют смешки. . . как мог он выставлять меня на посмешище своим дурацким чтением стихов? И вот теперь его чтение – во всяком случае, чтение на ночь – одно из самых лучших моих воспоминаний о нем.

Все, что рождается в сердце,
Что слышит ухо и видит глаз,
Все, что имею и знаю сейчас, —
Все это дал мне Ты.
Землю, и небо, и свет, и тьму,
Душу, и тело, и мир красоты,
Пресветлый Христос, дал мне Ты.
Всем сердцем Осанну пою я Тебе,
Иисус, приди ко мне!

Пусть мир соблазняет, к греху влечет.
Пусть плоть моя страждет, мне на беду.
Пусть даже сам дьявол меня пожрет,
В Тебе лишь спасенье найду...

Этому не суждено было сбыться. Но я думаю, если бы это все же произошло, то именно благодаря голосу моего отца, этим бесконечным ритмам: долгий-краткий-долгий – и обязательная пауза в должном месте, на каждой цезуре, словно плавно качающиеся суденышки простой, примитивной веры. Иногда его голос убаюкивал меня, и я погрузился в сон – в самый сладкий из снов.

Тридцатые годы у нас были иными, чем у всех: в жизни маленького мальчика не было мрачных теней, только бесконечное буйство листвы, солнечный свет, заливающий пространство меж древних стен, покой и защищенность и время, отмеряемое звоном колоколов; запах скошенной травы и отдельность от городского мира – как на острове. Единственная мрачная тень простерлась за чугунными воротами церковного кладбища: могила матери, которой я не знал; но даже и она, казалось, защищала, опекала меня, тихо откуда-то глядя... Каждую осень мы сажали у могилы ее любимые примулы, настоящие примулы Восточной Англии, не гибриды. В Восточной Англии у отца был друг-священник, он специально посылал нам семена. К апрелю могила матери бывала словно ковром укрыта сиреневыми и бледно-желтыми примулами на высоких стеблях; по воскресеньям, после утренней службы, прихожане шли вниз по дорожке к могиле – полюбоваться цветами.

Пришла война, а для меня – пора полового созревания: гораздо более мрачная глава, такая мрачная, что за нею на много лет схоронились ранние годы. Одного года в школе хватило, чтобы мной овладели тяжкие сомнения. И только отчасти потому, что мне недоставало храбрости (ничто так не приводит к общему знаменателю, как общежитие мальчишек из младших классов) защитить собственные – столь часто и беспощадно высмеиваемые – англиканские истоки. Тайная скука, мучившая меня столько лет, бесконечные, бесконечные, бесконечно повторяющиеся гимны, молитвы – длинные и краткие, псалмы, одни и те же лица, одни и те же символы веры, те же обряды, рутинная, ничего общего не имеющая с реальной жизнью, – все это я привез теперь в мир, где заявлять вслух, что в храме – скукота, не только не запрещалось, но было делом вполне обычным. Мальчишечьи доводы в пользу атеизма, может, и не отличались строгой логикой и убедительностью, но я воспринял их гораздо быстрее (хоть уже тогда умел это скрывать) и с большей готовностью, чем кто-либо другой. Способствовали этому и мальчишечьи плотские удовольствия: после пресной, бесполой, удушающей любые эмоции атмосферы пасторского дома я почувствовал себя словно Адам в садах Эдема. Разумеется, меня преследовал стыд, острое чувство вины; мастурбация и богохульство сплелись в тугую, нераз-

рывный узел. И то и другое грозило традиционной карой... разверзались Небеса, молнии сыпались дождем, неся проклятия Господни. Но на самом деле ничего подобного не произошло.

Помню, много позже, уже в Оксфорде, я говорил об этом с Энтони; он сказал, улыбнувшись, что прийти к неверию из-за того, что тебя не покарали, почти столь же грешно, как уверовать, обретая награду. Но этот худший грех мне и вовсе не грозил. Я познал нечестивую радость злоязычия: оно мне казалось честнее, чем напускное милосердие при обсуждении чужих недостатков. И мне очень хотелось доказать, что я не бессловесная жертва собственной биографии: в общей спальне, когда гасили свет, я сквернословил и богохульствовал, обмениваясь непристойностями с самыми умелыми. Я открыл в себе совершенно новые стороны: изобретательность, пусть и проявлявшуюся более всего в искусном вранье, острый язык, умение носить маску экстраверта. А еще – я жаждал успеха, жаждал яростно, что невозможно было предугадать в мои прежние годы, и я занимался изо всех сил, хотя отчасти причиной этому было чувство вины – слишком многое из прошлого я ухитрился предать. В нашей библиотеке дома были классики английской литературы, так что я оказался гораздо более начитан, чем мои сверстники. И я продолжал читать в школе. Открытия школьных лет (Сэмюэл Батлер^[77]: потрясение и восторг!) все более подрывали мое уважение к отцу и его вере.

Настоящий разрыв с Церковью произошел после события, о котором лучше рассказать чуть позже. Но к семнадцати годам я был уже вполне оперившимся атеистом, настолько убежденным, что регулярно – и совершенно бесстыдно – исполнял все прежние обряды и таинства, когда приезжал домой на каникулы. Ходил в церковь и, без грана веры и с растущей горой грехов за плечами, принимал причастие из рук отца до самой его смерти в 1948 году. Я считал это признаком зрелости – вот так обманывать старика, хотя на самом деле это было в основном проявлением снисходительности... и – отчасти – доброты. Он выдержал с честью мой отказ по окончании школы пойти по его стопам, поддержав семейную традицию, и, по крайней мере внешне, принял мое решение с невозмутимым спокойствием. Но мне кажется, втайне он надеялся, что в один прекрасный день я передумаю, а мне не хватило решимости разрушить эту последнюю его иллюзию.

Я даже ухитрился, не очень осознанно, начать примирение с той сельской местностью, откуда был родом. Школа, иные мнения, иные места, не говоря уже о возрастающем эстетизме в восприятии окружающего мира, дали мне возможность хотя бы разглядеть то прекрасное, что таила в себе сельская жизнь, несмотря на то что тогда – да и многие годы спустя – мне приходилось изображать ее перед друзьями и знакомыми как непереносимое занудство. Щедрая красота и умиротворенность сельских пейзажей, покой пасторского дома, его прекрасный сад... даже наши две церкви. Теперь у меня было с чем сравнивать – школьная часовня, архитектурный образчик поздневикторианской эпохи, была ужасна; теперь я смотрел на них глазами знатоков девонской церковной архитектуры, которые всегда считали обе наши церкви, даже если бы там не было прославленных крестных перегоронок^[78] и замечательных, пятнадцатого века, цветных медальонов с изображениями апостолов и пресвитеров, не менее примечательными, чем другие церкви графства. Та, что стояла рядом с пасторским домом, отличалась удивительно элегантною башней с каннелюрами, взмывающей ввысь (сравнение приходит из более поздних времен), словно космическая ракета в конусообразной капсуле. Внутри она была полна воздуха и света благодаря огромным тюдоровским окнам; за ней лежало кладбище, а там – тис и два старых вяза и – в отдалении – Дартмур. В этой нашей церкви была еще и самая моя любимая из религиозных картинок – изображение куманской сибиллы^[79], язычницы, каким-то образом затесавшейся в собрание почтенных христиан, запечатленных на крестной перегородке. Отец всегда указывал на нее посетителям, демонстрируя широту своих взглядов... и способность цитировать из «Четвертой эклоги»^[80].

Вторая наша церковь была поменьше, с башенкой, усевшейся, словно сова на крыше, в зеленоватом сумраке давно запущенной рощи. Там еще сохранились старинные, отгороженные

друг от друга скамьи и царил теплый покой, словно в материнской утробе; в ней было что-то домашнее, женственное, и все мы, не признаваясь в этом, любили ее нежнее, чем более величественный храм рядом с домом. Любопытно, что она всегда собирала множество прихожан, хотя добираться туда было значительно труднее; люди приезжали со всей округи – из близости и издалека, даже во время войны. Одна церковь была величественной прозой в камне, другая – фольклорной поэмой. Я не возьмусь давать оценку тому или иному участку освященной земли, но я хорошо знаю, на каком кладбище мне хотелось бы покоем... и место это, увы, не рядом с родителями.

И наконец, у меня была тетя Милли.

Она была худенькая, маленькая женщина, и – глядя из сегодняшнего дня – я сказал бы, что в ее внешности было что-то чуть-чуть от эры Редклифф-Холла^[81], чуть-чуть от лесбиянства (впечатление совершенно ошибочное!); скорее всего потому, что она всегда коротко стригла прямые седоватые волосы, неизменно носила строгие платья и грубые башмаки и была явно лишена женской суетности. На самом же деле ничего мужеподобного не было в обычной для нее спокойной сдержанности. Единственным ее грехом было курение; папироса, мужская прическа и очки придавали ее лицу некую интеллектуальность, казалось, она скрывает какую-то иную свою ипостась. Однако, повзрослев, я обнаружил, что она поразительно простодушна, теряется перед любым печатным словом, если это не «Книга о домоводстве», приходский журнал или местная газета, которую она читала от корки до корки каждую неделю. Если отца и можно было упрекнуть за тот образ жизни, который мы вели – он, по крайней мере, обладал достаточным интеллектом, и я мог вообразить, что он способен сделать выбор, – то упрекать тетю Милли было бы совершенно невозможно. Главной ее способностью было видеть только самое лучшее во всех, кто ее окружал, и во всем, что ее окружало.

Если бы мой отец был комендантом концентрационного лагеря, она сумела бы найти доводы в пользу геноцида – но не по злу... просто она не верила, что сама способна правильно судить о чем бы то ни было. Ее истинная вера определялась вовсе не Церковью, а ее взглядами на побудительные мотивы людей, на причины и исход деревенских скандалов и трагедий. У тетушки была привычная фраза, которой она заключала всякий разговор, если только речь не шла о непоправимом несчастье: «*Может быть, все это к лучшему*». Даже отец, бывало, бросал на нее мягко предостерегающий взгляд поверх очков, ожидая, что она вот-вот произнесет это оптимистическое заключение. Однажды, когда мы были с ней одни и она сказала так о чем-то, о чем даже сам доктор Панглосс^[82] сказал бы, что это к худшему, я посмеялся над ней. А она только сказала тихо: «Надеяться не грех, Дэниел».

Я изводил ее совершенно безобразно, как всякий избалованный сын изводит мать. Она *смогла бы* разделять мой расцветающий интерес к чтению, мои литературные восторги, если бы только захотела; *смогла бы* идти чуть больше в ногу со временем; кружка сидра во время игры в теннис – *вовсе не конец света*... бедняжка, это было так несправедливо по отношению к ней!

Если говорить о святости, именно тетушка Милли была всего ближе к ней, чем кто бы то ни было еще в моей жизни, – я имею в виду ту святость, определение которой на все времена дал Флобер в «Простом сердце». Я прочел этот его шедевр уже после ее смерти и тотчас узнал ее и осознал свое тогдашнее высокомерие. Когда я развелся с Нелл, она была еще жива, жила с другой моей теткой в Кумберленде. Она написала мне длинное, путаное письмо, пытаясь понять, что же произошло, старалась изо всех сил ни в чем меня не винить, но – весьма многозначительно – не стала притворяться, что это «может быть, к лучшему», хоть и закончила письмо, милая старая дурочка, советом «отправиться куда-нибудь в колонии» и «начать жизнь сначала». К тому времени меня отделяли от ее понимания несколько световых лет... но не от ее способности прощать. Эта ее способность покоряла пространство и время.

Я надолго отверг этот свой мир потому, что считал его причудливо-ненормальным. Но сейчас понимаю, что он просто крайний пример того, что происходило с обществом в целом. Сверстники мои – абсолютно все – росли и воспитывались в какой-то степени еще в девятнадцатом веке, поскольку век двадцатый не успел начаться до 1945 года. Потому-то мы и мучимся, оказавшись против своей воли чуть ли не в самом протяженном, но неожиданно резко оборвавшемся культурном пространстве истории человечества. То, каким я был до Второй мировой войны, кажется теперь отдаленным гораздо более чем на четыре десятилетия – скорее уж, на четыре века.

И кроме того, то, чем мы были когда-то, отделено теперь от настоящего совершенно особым образом, превратившись во внеположенный объект, выдумку, древность, обратный кадр... во что-то не имеющее продолжения, оторванное от сегодняшнего «я». Мое поколение стремилось сбросить с себя бремя ненужной вины, иррациональной почтительности, эмоциональной зависимости, однако процесс освобождения очень сильно походил на стерилизацию. Возможно, это лекарство излечило одну болезнь, но зато породило другую. Мы больше не порождаем отношений, для которых у нас не хватило бы пищи, но уже не способны породить и те, в каких испытываем нужду. Одно прошлое всегда будет одновременно другому, прошлый мир всегда будет одинаково не теперешним, сведенным к статусу нескольких семейных фотографий. Способ воспоминания посягает на реальность воспоминаемого.

Тирания глаза – обожателя границ: из-за нее и рождается отчуждение от реальности в киноискусстве; то же свойственно и театру, но там это не столь заметно из-за различий в исполнении и режиссерской трактовке одного и того же текста. Но окончательный монтаж фильма уже не допускает выбора, оставляя лишь один угол зрения; и нет больше простора для творческого подхода, для обиняков, нет времени для собственных мыслей. В акте сотворения собственного прошлого, прошлого сценария и прошлого съемок, он разрушает прошлое, сокрытое в сознании любого из зрителей.

Каждый образ по своей сути несет в себе что-то от фашиста, затаптывая правду о прошлом, какой бы смутной и нечеткой она ни была, подминая под себя реальный опыт прошлого, словно мы, оказавшись перед руинами, должны стать не археологами, но архитекторами. Слова суть самые неточные из знаков. Только обаянный наукознанием век мог не распознать, что в этом – его величайшее достоинство, а вовсе не недостаток. И я попытался тогда, в Голливуде, сказать Дженни, что убил бы собственное прошлое, если бы решился вызвать его из небытия при помощи кинокамеры; и именно потому, что я не могу по-настоящему воссоздать его при помощи слов, могу лишь надеяться пробудить нечто похожее на собственный опыт через иные воспоминания и чувствования, о нем и нужно писать.

Я плетусь, подбивая носком ботинка камешки, вниз по пыльному проулку: тетя Милли послала меня сказать отцу, что приехал плотник из Тотнеса; отец забыл, что договорился об этом, и ушел к старому майору Арбугноту, у которого подагра и серные пробки в ушах, поговорить насчет тенорового колокола, который необходимо перевесить. Знойный майский день, зеленые изгороди густо заросли коровьим пасленом, чьи жесткие нижние листья испятнаны кирпично-красной пылью, а остроконечные головки поднимаются выше моей собственной головы и облеплены насекомыми – тут и мухи, и трутни, и ржаво-красные солдатики. Уже далеко за полдень; я отломил полый стебель паслена, сделал из него трубочку для стрельбы отравленными амазонскими стрелами из сухих травинок: они разлетаются во все стороны в солнечных лучах, не желают лететь прямо, балды дурацкие; до чего же жарко, мне так хотелось до уроков в подготовилке поиграть в саду, забраться в свой «домик» в ветвях медного бука. Поет жаворонок – где-то далеко, над длинной густой зеленой изгородью, флейтой-колокольчиком льются трели, словно из самой сердцевины зеленого леса, из сердцевины весенне-летнего дня, – те звуки, что проникают в подсознание и остаются с тобой на всю жизнь; впрочем,

мальчик в проулке не думает об этом, он знает всего лишь имя птицы и думает: как здорово, какой я умный – знаю, как называется эта птица (но не саму птицу). А вот жужжит аэроплан, высоко, медленно летит в лазурном небе, совсем не так, как скрытый в будущем «хейнкель»; я замираю и гляжу вверх, задрвав голову. Это «тайгер-мот»^[83]. Еще одно название. Я знаю, что оно значит: тигровая бабочка. И знаю в реальности (хоть и не подозреваю, что в этом пришедшем из подсознания слове «реальность» грядет мое спасение) бабочку, которая носит это имя: ее называют еще «медведицей» – весело порхающую, с крыльями в шоколадно-кремовых и красно-оранжевых зигзагах. Каждое лето мы ловим таких у нас в саду. Аэроплан гораздо интереснее. А названий я знаю очень много: прекрасно запоминаю имена. Я расстреливаю аэроплан из трубочки-стебля.

Появляется отец, ведет велосипед вверх по холму, рядом плетется какая-то девчонка. Я бегу им навстречу, притворяюсь, что спешу передать поручение. У девчонки толстые щеки, зовут ее Маргарет; в воскресной школе она получила прозвище Четырехглазая косуля. Она сильно косит и носит очки. Я передаю поручение отцу, и он произносит: «О боже. Ну да, конечно». Потом добавляет: «Спасибо, Дэниел». И поручает мне нести зонт. Маргарет не сводит с меня глаз. Я говорю: «Здравствуй». Она поднимает голову и смотрит на отца, потом – искоса – на меня и отвечает: «Ага». Она идет в деревню, повидать свою тетушку. Мы втроем направляемся назад, вверх по проулку, отец – между нами, я – по левую руку от него, неся зонтик, Маргарет – чуть отстав; время от времени она вдруг странно, вприпрыжку, делает несколько решительных шагов, чтобы поравняться с нами. Мне уже одиннадцать, ей – десять. Мне нравится одна девочка в воскресной школе, но это не Маргарет. Девчонки мне вообще не нравятся, но нравится сидеть рядом с той, другой, девчонкой, стараюсь петь так, чтоб получилось громче, чем у нее. Ее зовут Нэнси. Глаза у нее – как летняя голубизна и не косят. Они глядят прямо, прямо тебе в глаза (ей тоже одиннадцать), и у тебя перехватывает дыхание. В гляделки она нас всех может переглядеть.

Опять поет жаворонок. Я говорю отцу. Он останавливается. «Да. Верно». И спрашивает у Маргарет, слышит ли она, как красиво поет птичка. Теперь она смотрит сначала на меня, потом вверх – на отца. («Мы услышали пичугу, слышь, мам, а мист’ Мартин, он прям еёное имя нам сказал!» Она чуть повышает голос на словах «мам» и «имя».) Сейчас она только кивает с серьезным видом. Недоросток, деревенщина дурацкая. Я злюсь, потому что это ее, а не меня повезет на велосипеде отец. И точно, когда проулок наконец выравнивается, это ее пухлые ножонки отрываются от земли и опускаются на второе седло, укрепленное на перекладине велосипеда. Маргарет, покачиваясь в рамке отцовских рук, удаляется. Отец едет медленно, но мне приходится пуститься вслед рысью. Да еще этот дурацкий зонтик. Я в бешенстве. У нас есть автомобиль – древний «Стандард-флаинг-12», но иногда мой дурацкий отец предпочитает пользоваться старым ржавым велосипедом. Отец: светло-бежевая визитка, темно-серые брюки с велосипедными зажимами, соломенная шляпа с черной лентой на тулье; шляпу эту не может сдуть ветер, в полях сзади есть петелька, к ней булавкой пристегивается черный шнурок, который, в свою очередь, прикреплен к брелку от карманных часов, продетому в петлицу визитки. (Ну, по крайней мере, я не испытал такого позора, как дети священника из Литл-Хэмбери, что в пяти милях от нас. Их отца видели раскатывающим на велосипеде, в шортах до колен и пробковом шлеме от солнца. И епископу на него донесли, что еще хуже.)

Мы пересекаем главную дорогу и продолжаем путь по проулку вниз, к деревне. Я сержусь, не желаю держаться с ними рядом; они скрываются из виду. С ужасом жду встречи с кем-нибудь из деревенских. Меня поднимут на смех за этот дурацкий огромный зонт. А хуже всего – деревенские мальчишки; и еще хуже то, что, как ученик подготовительной школы (она в соседней, не в нашей деревне), я вынужден носить форму: дурацкие серые шорты с белорозовым холщовым поясом, украшенным пряжкой в виде змеиной головы, дурацкие серые же гольфы с бело-розовой полосой наверху (господи боже мой, как же я ненавижу розовый

цвет и буду ненавидеть всю жизнь!), дурацкие черные башмаки, которые я обязан самостоятельно начищать каждый божий день! Дурацкие, дурацкие, *дурацкие*! Я закипаю. Злосчастный зонт тащится, хлопая складками, по пыли следом за мной, металлический наконечник скребет щебенку. Я заворачиваю за угол и вижу отца у ворот муниципального дома, где живет тетка Маргарет – акушерка. Он оглядывается и смотрит на меня, продолжая разговаривать. Маргарет стоит полуспрятавшись за своей толстой теткой. Ну почему, почему я – сын священника, а не кого-нибудь другого! Отец приподнимает соломенную шляпу, прощаясь с акушеркой, отходит от ворот и стоит посреди проулка, поджидая меня. Я всем своим видом демонстрирую изнеможение от страшного зноя и беспардонной эксплуатации.

– Идем, идем, старина.

Я не отвечаю. Он изучающе смотрит на меня. Я продолжаю демонстрировать. Он говорит:

– Дам всегда пропускают вперед, Дэниел. Это – правило нашей жизни.

– Мне жарко.

– Хочешь, я тебя повезу?

Я мотаю головой, избегая его взгляда. Нарушаю еще одно правило, растрачиваю весь свой кредит (я ведь не сказал «спасибо, не надо»), и отец понимает, что я сам понимаю это.

– Тогда тебе придется шагать домой самостоятельно. Меня человек ждет.

Я ничего не отвечаю.

– Взять у тебя зонт?

– Сам понесу.

Ничего ему не отдам, даже то, чего терпеть не могу.

– Очень хорошо.

Он протягивает руку и ерошит мне волосы. Я отдергиваю голову. Муниципальные дома. Может, на нас люди из окон глядят. Смотрю – глядят или нет? И тут отец совершает нечто беспрецедентное. Он шутит:

– Кажется, я потерял сына. Зато нашел горгулью^[84].

Он спокойно уезжает прочь. Я смотрю ему вслед. Потом иду домой, таща свою горькую обиду и тяжелый черный зонт сквозь сияние великолепного дня.

Мой «Розовый бутон».

Акт доброй воли

В недавнем «теперь» самолет снижается над заснеженным ландшафтом, подлетая к Нью-Йорку; снег, начало мира, где зима – реальность. Дэн переводит часы на местное время.

Очень сомневаюсь, что тот эпизод в моей оксфордской квартирке, в 1950 году, его серьезность и глубина грехопадения сегодня будут выглядеть правдоподобно. Эта постельная сцена до сих пор остается самой ужасной – в прямом, джонсоновском, смысле слова^[85] – и самой странной в моей вовсе не целомудренной жизни. Она оказалась ужасной и в гораздо более приземленном смысле. Не помню никаких подробностей самого акта, только то, что Джейн была вовсе не так опытна, как ее младшая сестра. Нелл уже тогда допускала некоторые вольности, в те дни сказали бы – допускала некоторую извращенность, и мы с ней уже успели приобрести достаточный сексуальный опыт, если судить по сегодняшним печатным руководствам в этой области. А Джейн обладала поразительной физической наивностью, удивительной невинностью и чистотой; когда корабли были сожжены, она стала совершенно пассивной. Мы забрались в постель, и я овладел ею... думаю, это продолжалось не слишком долго. Эти мгновения запомнились мне прежде всего своей глубочайшей, но восхитительной безнравственностью, предательством, невозможностью и реальностью происходящего, необъяснимой связью с той женщиной в камышах; но более всего потому, что свидетельствовали со всей определенностью: раз уж взломаны эти странные геометрические построения, возвращение к невинности и чистоте невозможно. Казалось, мы совершили шаг (весь тот первый послевоенный период, пресытившись топотом коллективно марширующих ног, каждый только и делал, что совершал свой собственный шаг) не столько во тьму, сколько в уникальность: ведь никто до нас не мог совершить ничего подобного, никакой иной век не знал эмансипации, подобной нашей, не ведал такой жажды эксперимента. Может быть, это и вправду был наш первый шаг в двадцатый век.

Я думаю о Дженни, о той простоте и беззаботной грации, с какой она выскальзывает из одежды в наготу, отдаваясь эротическим забавам, словно тюлень волнам. А в те дни... душевная смута, чувство вины, невежество... Сегодня Рабле одержал победу, да еще какую! И все стало намного проще. Не нужно сбрасывать униформу, словно кожу, освобождаясь от оков единообразия, не нужно высвобождать *ид*^[86]; нет больше долгих мучительных лет, отделяющих половое созревание от того, что приносит с собой половая зрелость. Разумеется, что-то мы все-таки приобрели: столь многое должно было сублимироваться, процесс был столь долог, что мы в результате овладели хотя бы рудиментами истинной культуры. Тогда мы с Джейн были лет на пять моложе поколения наших детей в этом же возрасте, если говорить о сексуальном развитии в его физическом и языковом выражении, но старше на те же пять лет во всем остальном. Вот и еще одна пропасть.

Наша уступка экзистенциализму и друг другу, несомненно, несла в себе зло. Она профанировала печатный текст жизни, взломала раз и навсегда установленный кодекс поведения и, помимо всего, дала Дэну познать губительный вкус прелюбодеяния, желание соблазнять, играть ту роль, какую в тот день сыграла Джейн. Нам тогда могло показаться, что она несет в себе доброе начало, как одаряет добром великое, но аморальное искусство, принося в жертву все ради собственного «я»; но мы не знали тогда, что жизнь и искусство не взаимозаменяемы. На самом деле в тот день Дэн не понимал, что происходит, что раз уж его завели в этот тупик, то должны и вывести оттуда.

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, переживая запоздалое потрясение от случившегося, больше похожие на Кандида и Кунигунду^[87], чем на юных интеллектуалов. Потом оба повернулись на спину и лежали бок о бок, держась за руки и уставившись в потолок.

– Что же нам теперь делать? – спросил Дэн.

Джейн сжала его пальцы:

– Ничего.

– Не можем же мы... – Он не закончил.

Помолчав, она сказала:

– Я и правда люблю Энтони. А Нелл любит тебя.

– Но мы же любим друг друга.

Она снова сжала его руку:

– Мы могли бы любить друг друга.

Пальцы их переплелись, и теперь Дэн стиснул ее руку.

– Не можем же мы делать вид, что ничего не случилось.

– Мы должны.

– Но ведь это – ложь. Такая чудовищная...

– Возьмем все это в скобки.

Он молчал. Хотелось взглянуть на нее, но он не мог, мог только разглядывать потолок.

Джейн сказала:

– Это наша тайна. Никто никогда не должен узнать.

– Нельзя всю жизнь сидеть на пороховой бочке.

– Поэтому и надо было ее взорвать. Я ужасно боялась, что Нелл догадается.

Тут Дэн впервые почувствовал, что его просто использовали. Но он забыл о том, что Джейн сказала тогда, на реке, о будущем, которое их ждет, о не такой уж возвышенной реальности, с которой им всем предстоит столкнуться.

– Так нельзя.

И снова – молчание. Потом она сказала:

– Когда мы сюда вернулись, я приняла решение. Что, если захочешь, я лягу с тобой в постель. Но если это случится, я выйду замуж за Энтони... приняв католичество.

Вот теперь он смог посмотреть ей в глаза.

– Да это же просто безумие! – Он с трудом подбирал слова. – С точки зрения католика, ты только что совершила смертный грех.

– Который теперь придется искупать. – Она чуть улыбалась, но смотрела ему прямо в глаза, и он понял, что это вовсе не шутка. – Тебе тоже.

– Всей нашей жизнью?

– Можно мне закурить?

Он приподнялся, достал сигареты, зажег две и одну передал ей. Она села, сбросив простыню, он обнял ее. Джейн прижалась лбом к его щеке.

– Еще я решила не испытывать чувства вины по этому поводу. Никогда.

– Но ты же только что говорила об искуплении.

– Прости. Я понимаю, в этом нет никакой логики. Мне вовсе не стыдно, что я тебя желала. Но было бы стыдно, если бы мы не смогли остановиться. Если бы это желание стало для меня важнее, чем нежелание причинить боль Энтони и Нелл.

– Тебе даже не очень понравилось.

– Нет, понравилось. Это было именно так, как я себе и представляла.

– Ну что ж... Для первой репетиции... – произнес он.

Она опять прижалась к нему лбом, ласково провела ладонью по его бедру под простыней, ущипнула легонько. Он сжал рукой ее маленькую грудь, потом притянул Джейн к себе. Но едва они начали целоваться, а Дэн почувствовал, что все снова приходит в равновесие (хотя узнать, так ли это, ему никогда не пришлось), как услышали, что внизу хлопнула входная дверь. Дверь в свою комнату Дэн, разумеется, запер, но они оба в ужасе уставились на нее, словно ждали, что кто-то вот-вот ворвется к ним сквозь ее деревянные филенки, как привидение в мультфильме,

Дэну пришло в голову, что это может быть и Нелл; тогда она дожидается возвращения ленинской вдовицы и попросит открыть ей комнату...

Никогда в жизни он не был так напуган – ни до ни после; но шаги были слишком тяжелыми и быстрыми. Они замерли у его двери, раздался стук, потом пришедший подергал ручку; потом, признав свое поражение, он отправился вверх по лестнице. Двое в постели услышали шаги над собой, в комнате наверху: Барни Диллон, студент, живущий этажом выше.

Джейн прижалась к Дэну, обвив его руками, поцеловала – быстро, страстно, – потом оттолкнула от себя и долгим взглядом посмотрела ему в глаза. И вот уже ее нет рядом, она торопливо одевается, Дэн делает то же самое. Они приводят в порядок постель, молча, в лихорадочной спешке.

Сверху доносятся звуки радио, чуть слышные ритмы музыки и снова – шаги. Теперь оба – во всяком случае, так кажется Дэну – почувствовали облегчение; но страх их не оставляет. Ведь это могла быть Нелл; Нелл все еще может появиться. А еще Дэн чувствует себя обманутым, потерпевшим поражение, будто Джейн нарочно устроила так, чтобы им помешали. Джейн расчесывает волосы, пристально глядя в свое лицо в одном из зеркал. Потом вдруг протягивает к нему руки и берет его ладони в свои.

– Мне надо уйти. Вдруг он опять спустится?

– Но...

– Дэн!

– У меня не хватит сил это скрывать.

– Так будет правильно.

– Мы так много еще не успели сказать друг другу.

– Все равно не смогли бы. Да это и не важно.

Она опять поцеловала его и опять сама прервала поцелуй. Постояла минутку, уткнувшись лицом ему в шею. Потом сказала:

– Посмотри, пожалуйста, путь свободен?

Дэн тихонько повернул ключ в двери. На цыпочках они сошли вниз по лестнице, Джейн несла туфли в руках. У самого выхода, пока он оглядывал улицу, она быстро их надела.

– Порядок. Никого.

Но она колебалась; потом, отведя взгляд, сказала:

– Я забегу к Нелл попозже, хорошо?

Колледжи сестер были недалеко друг от друга. Джейн добавила:

– Если только ты сам не хочешь это сделать.

Он потряс головой. На самом деле ему хотелось сказать: «Не пойму, как ты можешь...» – хоть он и понимал необходимость этого шага. Джейн подняла голову и встретила его взгляд:

– Если я теперь могу с этим справиться, то потому, что раньше не могла. Это ты понимаешь?

Он ничего не ответил, все еще пытаясь понять. Но в конце концов кивнул. Выражение ее глаз было странным, ищущим, во взгляде сквозило отчаяние, казалось, она ждет от него чего-то, что он не в силах ей дать. Она потянулась к нему, порывисто поцеловала в губы. В следующий момент она уже выскользнула в дверь, которую он закрыл за нею и остался стоять, взирая на задвижку и размышляя о том, что же такое он запер для себя в будущем, какое наказание повлечет за собой совершенное преступление; смотрел, как на чужую, на собственную руку на бесповоротно защелкнутом замке.

Так же, на цыпочках, он поднялся к себе в комнату, громко захлопнув дверь, чтобы было слышно наверху, если вдруг слушает Барни. Все вокруг выглядело навсегда изменившимся, незнакомым, и более всего – его собственное лицо в многочисленных зеркалах; и тем не менее он вдруг ощутил странную радость, даже улыбнулся сам себе. В конечном счете все это было невероятно, просто фантастика какая-то, и на самом деле просто замечательно; получилось

потрясающе авангардно и по-взрослому; и не оставило после себя ничего, потому что все было так похоже на Джейн, так в ее стиле: это ее напряженно-драматическое отношение к будущему, про которое она все для себя решила. Это произошло – вот что существенно; и все его глубоко запрятанные чувства по отношению к Энтони, рожденные комплексом неполноценности, улеглись, таинственным образом смягченные и успокоенные. И снова Дэн принялся писать самого себя.

Да так успешно, что буквально через десять минут нашел в себе достаточно самообладания и дерзости для первой проверки: он пошел наверх, к Барни Диллону.

Возвращения

В аэропорту Кеннеди мне пришлось целый час ждать рейса на Лондон. Надо было бы использовать это время, чтобы позвонить Дэвиду Малевичу – я знал, он сейчас в Нью-Йорке, – насчет сценария о Китченере. Но я слишком устал и был сейчас слишком далеко от сегодняшнего дня. Так что я позволил себе оставить на будущее еще один трансатлантический разговор ни о чем и уселся в баре, в зале отлетов. Тот самый серфер отдался на волю волн, равнодушный к тому, что может случиться, лишь бы длился путь; что-то во мне жаждало, чтобы путь этот длился вечно. И опять Дженни, в том ее письме, которого я тогда еще не читал, да, по правде говоря, она его еще и написать не успела, оказалась наполовину права. Я действительно чувствовал себя чемоданом с неразборчивыми ярлыками, с которым ничего дурного не может случиться, пока он заперт. Однако мне все же удалось сделать один практический шаг, между двумя бокалами без удовольствия выпитого виски. Не доверяя ее матери, отправил телеграмму Каро, что я уже в пути. Кэролайн: в моей жизни хотя бы она перестала восприниматься как грозное воплощение вины, ошибки – и в биологическом, и в самообвинительном смысле этого слова. А ведь так долго – несколько лет – я даже дочерью ее не мог считать, просто существом, которое я когда-то подарил Нелл и с кем мне скрепя сердце разрешали время от времени повидаться. Наши короткие встречи омрачались скрытой подозрительностью. Нелл приучила девочку относиться ко мне как к подонку; я же, со своей стороны, видел в ребенке слишком много материнских черт. Она и внешностью пошла в мать, а вот умом – ничуть не бывало... что, по правде говоря, не могло служить таким уж утешением. В отличие от матери она не только не обладала острым язычком, но, казалось, лишена была и всякой иной интеллектуальной остроты. Мир сельской усадьбы, куда девочка последовала за матерью, когда та второй раз вышла замуж, занятия верховой ездой, кошмарная школа-интернат для болванов из высшего общества (школу выбрала Нелл – за мой счет, разумеется)... не очень-то все это пошло ей на пользу. Когда она была подростком, я пытался – может быть, слишком настойчиво – привить ей хоть какие-то рудименты культуры, начатки сознания, что человеческая порядочность свойственна не только владельцам земельных угодий, исповедующим консервативные взгляды на всё и вся. Но она, казалось, была не способна ничего воспринять или просто смущалась. И вот, два года назад, нам с Нелл пришлось задуматься о том, чем же Каро могла бы заняться. У нее не было шансов попасть даже в самый захудалый из университетов. За границей учиться она не хотела. В конце концов мы остановились на секретарских курсах в Кенсингтоне^[88], специально созданных для таких вот небогатых интеллектом девиц из богатых семейств.

Мы стали гораздо чаще видаться; и – наконец-то! – я понял, что за внешностью хорошенькой глупышки скрывается милое мне существо. В ней виделась зарождающаяся независимость, и я самодовольно решил, что тут работают мои гены; обнаружили нежность и совершенно новое ко мне отношение. Я гораздо больше узнал о Нелл и Эндрю, о замкнутой жизни Каро в их комptonском имении. В ней совершенно не было стервозности, многое приходилось читать между строк. Но было очевидно, что жизнь в Лондоне, даже в общежитии, где порядки весьма напоминали лагерный режим, показала ей, что дома ей многое изображали в неверном свете, а меня – особенно. У нас вдруг начался запоздалый период любви между отцом и дочерью; проще говоря, шутя и поддразнивая друг друга, мы помогали друг другу избавляться от прежних заблуждений. У нее были молодые люди: ничего плохого я в этом не находил. Как-то раз она неожиданно заговорила об абсурдности наших встреч в ее детстве, об их напряженности и скуке, и мы смеялись, вспоминая то один день, проведенный вместе, то другой, а то и два выходных подряд. Это было чудесно; словно видишь, как выпрямляется опрокинувшаяся лодка, и понимаешь, что большой беды не случилось, что это было чуть ли не на пользу – вот так перевернулся.

Прошлым летом Каро закончила курсы и после недолгого отдыха нашла работу. У нее было несколько предложений, и она выбрала то, что посоветовал я, – работу в газете... ну, назовем ее «Санди таймсервер». Другие предложения были все в Сити^[89], и мне хотелось, чтобы она занималась чем-то по-человечески более интересным, чем курсы акций и биржевой жаргон. Литературного дара у нее не было совершенно, но работа в крупной газете – какой бы скромной ни была ее должность – вряд ли могла показаться Каро слишком скучной. К тому времени у нее завелся постоянный молодой человек. Я знал, что она спит с ним и что они даже подумывают о браке; так что мне оставалось лишь занять ее делом и помочь приобрести хоть какой-то жизненный опыт помимо того, что она успела узнать в Глостершире и Кенсингтоне. Ей хотелось снять отдельную квартиру, но я предложил ей пожить в моей, пока я буду в Калифорнии. Это была та же квартира в Ноттинг-Хилле^[90], в которой мы с Нелл поселились перед самым разрывом: старомодная, очень большая и с арендой на девяносто девять лет. Глупо было не воспользоваться ею. Так что Каро поселилась там, а через месяц-два я уехал. Письма от нее приходили редко, но когда она мне писала, не забывала повторять, как это «ужасно», что она до сих пор не нашла подходящей квартиры; она притворялась, но меня это все равно обижало. Этим определялось многое из того, что еще оставалось не совсем естественным в наших с ней отношениях. То же самое относилось к деньгам: она была очень сдержанна в тратах (качество, видимо, подаренное ей отчимом). Она отказывалась брать у меня деньги, как только начала работать, под любым благовидным предлогом (мне и так уже пришлось «выложить целое состояние» на ее обучение и так далее и тому подобное), а я приходил в отчаяние. Дженни права: я гораздо охотнее жалуясь на мелкие трещины и недостатки, чем признаю крупные достижения в этом новом узнавании друг друга.

Мысль, что я скоро вновь увижусь с ней, доставляла мне истинное удовольствие, правда несколько омрачаемое чувством вины; я ведь пробыл в Америке гораздо дольше, чем намеревался поначалу. Конечно, Каро догадывалась – почему. Я упоминал Дженни пару раз в своих письмах, хоть и не говорил открыто о наших отношениях. Однако теперь это уже не могло быть для нее новостью, и я опасался, что дочь может чувствовать уколы ревности. Последние три недели она вообще перестала мне писать. С другой стороны, она теперь была сама себе хозяйкой, жила в гораздо более открытом мире, и я очень надеялся, что злой ветер из Оксфорда, повлекший меня домой, поможет нам сблизиться снова.

Объявили посадку. Я вошел в салон и сразу занял три кресла. Впрочем, ясно было, что самолет не будет переполнен: мы прилетали в Лондон в два часа ночи, в такое время люди мудрые обычно не прилетают. Надо было решить, чего мне больше хочется – спать или есть? Спать – решил я и, усевшись поудобнее, стал ждать взлета.

Всю свою взрослую жизнь я считал, что наши судьбы не определяются ничем иным, кроме наследственности и внешних обстоятельств. Сложнейшие ухищрения, при помощи которых многие калифорнийцы пытаются избежать рациональной обусловленности, – идиотские верования, погоня за людьми вроде Гурджиева или Успенского, за разного рода чудаками и психами; десятки тысяч психотерапевтических центров и ранчо глубокой медитации, астрология, маниакальное увлечение экстрасенсорикой, наркотический мистицизм... все это всегда вызывало у меня только презрение и насмешку. Но накануне вечером я был глубоко потрясен, а теперь божество, ведающее совпадениями, решило еще и лягнуть поверженного. В салон вошел последний пассажир. Я взглянул в его сторону, когда он шел по проходу, а он бросил взгляд вниз – на меня. Он малость раздался, пополнил, видно было, что быстро лысеет, но усмешка была та же самая – чуть хитроватая, чуть насмешливая, хотя на кратчайшее из мгновений его лицо дрогнуло, показав – он жалеет, что глянул вниз и заметил меня. Искренним было лишь удивление – и с той и с другой стороны.

– Господи ты боже мой! – произнес он. Потом, торопливо прикрыв лицо рукой, прошептал то, что всего несколько часов назад произнес я: – Призраки.

И тогда я наконец понял, что тот давний день в Оксфорде и не думает уходить в небытие.

В те времена следовало гордиться тем, что можешь представить его друзьям, несмотря на его постоянную кривую ухмылку, на то, что он всегда, словно пиявка, стремился найти незащищенное место. Диллон-остряк, Диллон-сплетник, столп, на котором держится «Айсис»^[91]: известность в университете была миррой и ладаном, а Барни мог раздавать их щедрой рукой. Он тоже был из рано созревших молодых людей, но его зрелость ничего общего не имела со зрелостью Энтони: он уже подвизался на Флит-стрит, уже как бы и на неведомом еще телевизионном экране, обаятельный с людьми неизвестными и сыплющий язвительные инсинуации в спину людям известным. Уже тогда, в театральных и кинорецензиях, ему особенно удавался тон утомленного жизнью знатока; в колонке светской хроники он умел быть изощренно-злым, а в более серьезных работах его патологический эгоцентризм легко сходил за непредвзятость и честность. К тому же он умел забавно передразнивать других.

Дэн застал его растянувшимся на кровати. Барни тоже заканчивал университет. Подняв от книги глаза, он подмигнул Дэну с видом заядлого спекулянта:

– Хочешь, сенсацию подкину за пятерку?

Дэниел ухмыльнулся, поддерживая взятый тон:

– У меня самого этого товара навалом – отдаю за бесплатно.

– Только рафинад, дружище. Песок не берем.

– Серьезно, Барни. Фантастическая новость. Просто *фантастическая!*

Диллон смерил его оценивающим взглядом, потом недоверчиво улыбнулся:

– Ладно, валяй.

Через неделю в колонке светской хроники появилась заметка:

Мы услышали эту новость прямо из первых – немых как могила уст: наш юный будущий Бен Джонсон^[92] от огорчения утратил дар речи... и слава богу, скажете вы (но не мы – мы-то любим многообещающего малыша). Кажется, по рассеянности он перепутал Божественных близняшек – загреб не ту на лодочный круг по затхлым водам заброшенной протоки, и тут-то... да ладно, вы ведь и сами газеты читаете.

Откуда ж огорчение? А у протоки, друга мои, имеется определенная репутация: одну ли Нелл и один ли раз? Видала она и других зараз в тимьяне и камышах. Злосчастная парочка утверждает, что забралась в камыши позаниматься в тиши. Очаровательная наивность, мы с такой не встречались с тех самых пор, когда некая девица отправилась в публичное заведение поучиться в теннис играть.

Ох уж эти мне игроки и игруньи! Когда же они поуменьют?

Дэна обидел вовсе не тон заметки, когда он ее прочел, а ее краткость.

И вот теперь, четверть века спустя, я встаю и пожимаю ему руку.

– Барни! Сколько лет, сколько зим!

– Невероятно. Только вчера о тебе разговаривал.

Он качает головой, полный удивления и замешательства, которое не в силах передать словами, но хочет, чтобы я знал об этом. Он держит портфель, через руку перекинут модный плащ; костюм явно шит по самой последней моде, но носит он его нарочито небрежно, сорочка без галстука, ворот расстегнут. Он продолжает:

– С Кэролайн.

Должно быть, заметив, что я поражен, пояснил:

– По междугородке. Она разве тебе не сказала?

– Что «не сказала»?

– Она теперь у меня работает. Секретарем. Уже три недели.

– Мне казалось, ты ушел...

Подошла стюардесса и улыбнулась ему. Явно знала, кто он такой.

– Мы готовимся к взлету. Не хотите ли пройти на свое место, мистер Диллон?

– Ох ты господи. Вот возьму и напишу на вас жалобу, чтоб nepовaдно было! – Барни ухмыльнулся ей и повернулся ко мне, не загасив ухмылки: – Девочка знает, я смертельно трушу в воздухе. Здорово, что мы встретились, Дэн. Я только свое барахло положу... Объясню потом.

Я смотрел, как он идет по проходу, отыскивает свободный ряд кресел. Та же самая стюардесса суетилась, помогая ему устроиться. Если он еще и не переспал с ней, то явно намеревался предложить ей это. Я заметил, что англичане – муж и жена, в креслах через проход от него – тоже его узнали: наверняка видели по телевизору.

После Оксфорда был такой период, когда мы довольно часто встречались: обеды, вечеринки, премьеры. Я писал пьесы, он – рецензии. Он очень дружески отозвался о двух моих первых пьесах и вскоре написал прямо-таки прочувствованный очерк обо мне в одном из театральных журналов. Потом какое-то время он занимался другими сюжетами, и мы разошлись. Но к тому времени, как я написал пятую пьесу – о крахе моего брака, и она появилась на лондонской сцене, – он снова вел театральную хронику. Он раздолбал ее в пух и прах. Надо отдать ему должное – он предупредил, что собирается разложить меня на составные, даже извинился, сказав, что долг превышает всего... и мне ее худо-бедно отрецензировали где-то еще. Возмутили меня не нападки на профессиональные качества пьесы – я и сам знал, что здорово там напудривал, – я был возмущен тем, что он воспользовался имевшейся у него частной информацией, писал о «непереваренном личном опыте» и тому подобном. В то время казалось несущественным, что он был совершенно прав: я полагал, что нельзя вот так предавать старую дружбу, даже просто знакомство, и решил, что вычеркну Барни из списка людей, с которыми хотел бы знать. Однако по роду занятий мы не могли не встречаться время от времени: наши два мира слишком тесно переплетались меж собой. Он даже рецензировал мои фильмы, и, когда наши пути таким образом пересекались, я не мог пожаловаться на несправедливое к себе отношение.

На самом деле я не любил Барни не столько за какие-то его личные качества, сколько потому, что он был критик. Тот, кто создает сам, не может любить критиков, слишком уж различаются эти два рода деятельности. Один порождает, другой – режет по живому. Какой бы справедливой ни была критика, она всегда вершится тем, кто не имеет (евнухом), над тем, кто имеет (создателем); тем, кто ничем не рискует, над тем, кто ставит на карту само свое существование – как экономическое благосостояние, так и бессмертие.

Я не мог бы назвать Барни неудачником с точки зрения общественного признания; но что-то вроде вечной неудачливости витало над ним, как, впрочем, и над всеми моими оксфордскими сверстниками. Это относится к Кену Тайнану и многим другим, да и себя я не могу исключить из их числа: судьба тогда обещала нам гораздо больше, чем то, чего мы смогли добиться. Может быть, мы обладали слишком развитым самосознанием, слишком внимательно присматривались друг к другу, слишком хорошо знали, чего от нас ждут, и слишком боялись показаться претенциозными; а потом, в пятидесятые годы, нас сшибла и отбросила прочь мощная волна антиуниверситетской, рабочей драматургии, рабочего романа. Знаменитый панегирик Тайнана пьесе «Оглянись во гневе»^[93] был одновременно и эпитафией нашим надеждам и устремлениям, всей совокупности традиций и культуры среднего класса, внутри которой мы волей-неволей оказались заточены. Нам оставалось лишь наблюдать и ехидничать: мы занялись сатирой, мы примазывались к первому попавшемуся культурному или профессиональному движению, если полагали, что оно обречено на успех, утешаясь мишурой сиюминутных достижений. Потому-то столь многие из нас и стали журналистами, критиками, телевизионщиками, режиссерами и продюсерами; потому-то и напуганы так своим прошлым и своим классовым происхождением, что, как ни тужься, не смогли преодолеть страх.

Барни в последние лет десять все чаще и чаще появлялся на телевидении, а совсем недавно стал вести и авторскую программу: интервьюировал знаменитых людей. Я даже посмотрел пару-тройку его передач. Пожалуй, он чуть пережимал с собственным имиджем: пытался обмениваться остротами с профессиональным комиком, слишком часто прерывал известного политика. Как это случается со всяким, кто не может забыть о телекамере, работая с этим безжалостным монстром, он вызывал у зрителя недоуменный вопрос: что такое пытается скрыть этот ведущий, почему он не может быть самим собой? Именно эта программа и принесла Барни известность в Лондоне, да и, по-видимому, неплохие деньги. Но, глядя на экран, я не мог не вспоминать Барни-циника наших оксфордских дней. Тогда у него были более высокие критерии, и тогда он не считал нужным заискивать перед знаменитостями. Он, наверное, сказал бы, что повзрослел... но оводы не взрослеют, они просто умирают. Одну его передачу я едва досмотрел до середины. Злость, которую когда-то я испытывал к нему из-за той рецензии, обернулась скукой: ничего иного не вызывала у меня эта пустая раковина, крохотный символ того, что стало со всем моим поколением, внешняя оболочка, оставшаяся, как мне казалось, от прежнего Барни.

И вот теперь эта пустая раковина подошла и уселась рядом со мной, пристегнув ремень. Мы словно были перед телекамерой: пара англичан, сидевших через проход от нас, украдкой наблюдала за нами.

– Я заказал виски. Идет?

– Прекрасно. Расскажи мне про Каро. Я думал, ты ушел из газеты.

– Да мы пар повыпустили и помирились. – Он пожал плечами. – Веду новую колонку. Чтoб навык не потерять. – Он скользнул по мне взглядом и кисло ухмыльнулся. – Я ж теперь чертовски знаменитый. Помню, когда-то мне уголок стола с трудом уступали, и то если повезет. А теперь у меня свой кабинет и секретарша.

– У нее получается?

– Еще как. Чувствует себя как рыба в воде.

– Рад слышать.

– Никого ко мне не пускает – держит круговую оборону. И мной командует вовсю. Даже писать правильно учится. – Я улыбнулся. – Она просто потрясающая. Правда.

Он очень старался быть со мной полюбезнее. А мои мысли были уже с Каро. Правда, я не мог вспомнить, говорил ли ей когда-нибудь о Барни, но Нелл, скорее всего, говорила, и на минуту я задумался – а может, дочь знала или хотя бы догадывалась, что мне было бы неприятно, если бы она работала у Барни... не сделано ли это чуть-чуть в отместку за мою измену ей с Дженни? Самолет стал выруливать на взлетную полосу. Я спросил Барни, что привело его в Штаты.

– Статью про выборы пищу. Обычная тягомотина. – Он скривил губы. – Хреновая страна. Убиться можно. Они никогда не повзрослеют. Ты тоже так считаешь?

– Иногда.

– Ну конечно, на побережье, в Калифорнии... – Он пожал плечами. Потом бросил пробный камешек: – Я думал, ты там сценарий пишешь.

– Я еду повидать Энтони Мэллори, Барни. Каро тебе...

– Да, она мне говорила. Кошмар. – Он помолчал. – Я-то думал... – Он осекся, потом улыбнулся: – Извини. Это не мое дело.

Он явно вспомнил, что Каро говорила ему: мы с Энтони не поддерживали никаких отношений уже много лет. Я описал ему положение дел, и мы поговорили немного об Энтони, о его болезни, о раке.

– Ну что ж. Будет Каро приятный сюрприз. Твоя дочь тобой просто восхищается, тебе это известно? – Он вдруг ухватил себя за нос – Ох, Дэн, пока не забыл. На самом деле она просила

меня тебе позвонить. Привет передать и рассказать про новую должность. Только я был так чертовски загружен, а сегодня решил смыться пораньше и поспеть на пятьдесят девятый...

– Да ладно. Я ей скажу.

Мы ждали взлета у начала взлетной полосы. Моторы взвыли, и Барни на мгновение умолк. Потом фыркнул, подсмеиваясь над собой:

– Господи, как я ненавижу этот способ передвижения.

– Напоминает о бренности жизни?

– Спрашиваю себя – стоило ли вообще-то?

– Да брось. Мы всё еще живы.

– Точно. Вся жизнь – в пяти тыщах страниц, которые только и годятся на кульки – жареную рыбу с картошкой заворачивать.

– Херня.

Он мрачно оглядел салон, скривил рот и пожал плечами:

– Как назад посмотришь...

– С твоих профессиональных высот?

– Ба-альшее дело. Как тут говорят.

Мы начали разгон.

– На самом-то деле я тут еще и телепрограммой занимался. Они все прямо с ума посходили: решили, что я – новый Дэвид Фрост. А я им сказал, что даже старым Дэвидом Фростом быть не хочу. – Я усмехнулся: он этого ждал. – Серьезно. Теперь сматываю удочки. Завтра должен был присутствовать на деловом ленче с одним из предполагаемых спонсоров. Пробный вариант с ним высидеть.

Мы оторвались от земли. Он смотрел в окно, мимо меня.

– Загнись, честное слово. Если этот вариант пройдет. А в Англии – от всех этих передач загнись.

– А мне твои передачи нравились. Когда удавалось посмотреть.

– Да хоть кто-то второй раз их включает?

Я опять улыбнулся. Хорошо было вернуться в то состояние, когда улавливается подтекст.

– А ты бы тут попробовал. Здесь конкуренция не так велика.

Я рассматривал Манхэттен, поднимавшийся вдаль, небоскребы – словно башни термитов. Барни отстегнул ремень.

– Кэролайн говорит, ты эпопею собираешься снимать?

– Да нет. Исторический фильм. Про Китченера, – ответил я. – Обречен на провал с самого начала.

– Да?

– Это не для печати, Барни.

– Конечно, старина. Просто интересуюсь.

Появилась стюардесса с заказанным виски. Барни одарил ее улыбкой:

– Спасибо, милая.

Мы поговорили о кинобизнесе. Чувствовалось – он все время играет некую роль. Сидел разглядывая свой бокал, позванивая кубиками льда в нем, с ненатуральной почтительностью прислушиваясь к моим словам: с гораздо большим удовольствием он поболтал бы со стюардессой. Потом он заговорил о телевидении, о его эфемерности, об «отупляющем количестве дерьма», без которого он не мог обойтись в собственных программах. Это была та же травма, то же испытание медными трубами, через которое когда-то прошел и я: тирания массовой аудитории, необходимость подавить в себе интуицию, образованность, тонкость восприятия и десяток других качеств, признать ту несокрушимую истину, что большая часть человечества невежественна и жаждет – или хотя бы платит за то, чтобы людей считали идиотами. Массовая аудитория – это мудаки, как когда-то лаконично пояснил мне прославленный голливудский

продюсер, а мудаки ненавидят все интеллектуальное. Теперь Барни пожаловался на то, как ужасно, что его стали повсюду узнавать в лицо; но ведь никто никогда не идет на это вслепую. Любое искусство – от прекраснейшей поэзии до грязнейшего стриптиза – изначально определяет: отныне ты пребываешь на глазах у толпы и должен мириться с тем, что влечет за собой всякое публичное зрелище. И все же я сочувствовал ему, а то, что я вдруг оказался в роли Дженни, меня как-то одновременно развлекло и опечалило. Кажется, он это почувствовал. Мы выпили еще виски, и он поднял свой бокал:

– Ну, давай теперь за Кэролайн. – Осушив бокал, он произнес: – Она, кажется, спокойно перенесла ваш развод.

– Чудом каким-то. Хорошо, что я смог узнать ее поближе за последние два года.

– Может, ты не так уж много и потерял. Если судить по моему печальному опыту.

– Извини, я забыл...

– Трое сыновей. Старший не желает со мной разговаривать, средний – не может, а младший разговаривает, да еще как. Его-то как раз я не выношу совершенно.

Он, несомненно, уже не раз апробировал это в «Эль Вино».

– Ну а если без эпиграмм?

– Это проблемы Маргарет. Я давно умыл руки. Я и сам к своему старику так относился. Только они и не пытаются этого скрывать. Видимо, это и есть прогресс.

Я попытался вспомнить Маргарет: маленькая женщина с напряженной улыбкой, вечно молчавшая, если с ней не заговаривали; казалось, ей всегда не хотелось быть там, где она в тот момент находилась. В Оксфорде она не училась, и я знал о ней очень мало.

Барни разглядывал салон.

– Вперед, к Республике! Пусть какой-нибудь другой бедолага воспитывает этих паршивцев.

– Прости, я не знал.

– Да я сам виноват. Вечно времени не хватает. А то и терпения. – Он вздохнул и отхлебнул виски, потом сменил тему: – Ты вернешься сюда, как только...

– Нет. Закончу сценарий дома.

Он улыбнулся мне своей прежней улыбкой – всепонимающей, испытующей:

– Дома? Разве это и теперь для тебя – дома?

– В Англии? Господи, да конечно же. У меня в Девоне ферма. Небольшая.

– Кэролайн мне говорила. Звучит здорово.

Мы принялись обсуждать состояние дел в Великобритании. Разумеется, я распознал хорошо знакомые мне симптомы: сомнения, разочарованность, золотые плоды, обернувшиеся восковым муляжом, мечты, обратившиеся в прах. Но сам я никогда не признался бы ему в этом. Можно предаваться самобичеванию с теми, кого любишь, но не с теми, к кому испытываешь презрение. Я пришел к выводу, что он очень не хочет, чтобы я слишком много говорил о нашем прошлом с Каро. И очень хочет получить положительный отзыв: у него масса проблем, и он не воспринимает себя слишком уж всерьез.

Стали разносить еду; я воспользовался этим предлогом, чтобы прервать беседу: мол, я не спал ночь, а есть мне не хочется. Ему очень хотелось как-нибудь пообедать вместе, если я задержусь в Лондоне. Я пробурчал что-то вполне подходящее. И лег. И провалился в сон – глубокий, без сновидений: так спят обреченные.

Тарквиния

У них выдался один поистине золотой период. Энтони услышал о пустующей в Риме квартире, и через год после окончания Оксфорда они вчетвером провели там шесть недель – самый разгар лета. Трое выпускников покинули университет лишь формально: Энтони теперь преподавал там, в Вустер-колледже, Дэн стал режиссером студенческого театра – за гроши, так что приходилось жить на восемьсот фунтов в год, полученные в наследство от отца. В декабре Энтони и Джейн обвенчались. К тому времени, как они отправились в Рим, она была уже на четвертом месяце беременности. Их свадьба получилась торжественной и пышной: многочисленные родственники собрались при полном параде, Дэн был шафером. Джейн официально приняли в лоно католической церкви за месяц до свадьбы. После Нового года молодые переехали в отдельный дом в Уитеме. Дэн и Нелл обошлись скромной церемонией в мэрии: они зарегистрировали брак сразу после того, как Нелл сдала выпускные экзамены, и в Риме проводили как бы символический медовый месяц. Год назад Дэн и вообразить не мог, что такое возможно. Но за год очень многое переменилось.

После *acte gratuit* ему хотелось хотя бы на несколько недель избежать встречи с Джейн. Но она появилась в его комнате вместе с Энтони на следующий же день, когда он сидел там, зарывшись в книги. Это произошло так неожиданно – именно на это она, конечно, и рассчитывала, – что Дэн не успел испугаться. Утренние газеты уже сообщили, что Джейн и Дэн обнаружили труп неизвестной женщины (ее убийца так никогда и не был найден). Энтони, казалось, испытывал смешанные чувства, был удивлен и заинтригован и жаждал услышать версию Дэна о случившемся. Нужно было вести себя с ним как обычно... как и с Нелл в тот же день, но несколько раньше. Нелл знала: он занят зубрежкой – и прикатила на велосипеде сразу после завтрака, перед лекциями. Обмануть ее ничего не стоило. Она ничего не заподозрила, была совершенно потрясена происшедшим, это ужасно, чудовищно, да еще «в их любимом, таком идиллическом уголке».

Дэн обнаружил, что может смотреть на Джейн без всякого смущения. Он даже ощутил несколько запоздалую жалость к Энтони и, поняв, что пудрить доверчивые мозги не составляет труда, решил отпустить себе грехи. Ведь то была просто комедия, десятиминутное помешательство. Он понимал, что бежит от реальности, сознательно снижает значение происшедшего... он даже стал сравнивать Нелл и Джейн, убеждая себя, что Нелл лучше, что он не испытывает ревности. Но тут Энтони вышел в ванную, оставив их в комнате одних. День был жаркий, Джейн, подобрав ноги, сидела боком к саду на подоконнике, а Дэн растянулся на кровати. Оба молчали, избегая глядеть друг на друга, и реальность, не желая уступить место комедии, снова предстала перед ними. Вдруг Джейн спрыгнула с подоконника и подошла к кровати. Дэн посмотрел ей прямо в глаза. Она медленно произнесла:

– «О, будь конец всему концом...»^[94]

– Да ладно.

– А Нелл?

– Обошлось. Она утром заходила.

Он пристально смотрел ей в глаза; она не выдержала и отвернулась.

– Ты на меня сердишься?

– А ты помнишь, чем кончается этот абзац в речи Макбета?

– Нет.

– «Кто стал бы думать о грядущей жизни?»

Она хотела что-то ответить, но передумала и плотно сомкнула губы.

Потянулся долгий миг молчания.

– Мы с Нелл вчера хорошо поговорили. О тебе.

– Делились впечатлениями?

Она проглотила сарказм. Потом сказала только:

– Ты сердишься.

Он заложил руки за голову и уставился в потолок.

– Ты, кажется, уже жалеешь о том, что случилось.

– Только если это оставило у тебя чувство горечи.

– Так что же вы с Нелл про меня решили? Подхожу я ей или нет?

Снаружи послышался голос Энтони, и они догадались, что ему встретился студент из комнаты над парадным входом: они вместе учились в Уинчестер-колледже. Джейн немного помолчала.

– Дэн, если я сумею теперь остановиться, я еще смогу быть счастлива с Энтони. Но если мы не остановимся... И Нелл так хочет выйти за тебя замуж. Может, даже сильнее, чем ты себе представляешь. – Она стояла, разглядывая каминную полку, но теперь обернулась и взглянула на него. – А мы с тобой всегда будем в чем-то гораздо ближе друг другу, чем им.

– В идиотизме.

Она улыбнулась. Потом сказала совершенно серьезно:

– В том, чем пожертвовали ради них.

Дверь отворилась, и энергично, как всегда, в комнату вошел Энтони. Джейн обернулась к нему:

– Дорогой, этому бедняге надо вернуться к занятиям. Мне тоже.

Тут Дэн почувствовал прилив ненависти. Джейн произнесла это совсем как Нелл. Может, обстоятельства и оправдывали то, как естественно она сыграла нормальную оживленность, но само напоминание о том, какой прекрасной актрисой она была, омрачило только что происшедшую между ними сцену. Джейн как бы взяла на себя роль умудренной жизнью, готовой на самопожертвование женщины, уже примеряющей костюм новообращенной католички. И самым странным было то, что он все-таки чувствовал – где-то в глубине души она его действительно любит, понимает гораздо лучше, чем ее сестра, желает его физически гораздо сильнее, чем будущего мужа. То, что случилось, походило на попытку выломиться из мифа о самой себе... и попасть в миф, созданный Рабле; но когда оказалось, что этот последний требует вероломства и слишком тяжелых моральных затрат, она попала в двойные оковы, вернувшись туда, где была.

Однако все это прошло и быльем поросло к тому времени, когда они отправились в Рим. Может быть, она устроила так специально – во всяком случае, до начала выпускных экзаменов они наедине больше не встречались. Потом они врозь провели летние каникулы – сестры отправились в Штаты вместе с Энтони: их мать и отчим пригласили его пожить у них дома. Дэна тоже приглашали, и он мог бы поехать, но заранее нашел причины для отказа: не хочется потерять место в театре, он давно не бывал у тетушки Милли, боится завалить экзамены и к тому же хочет воплотить в жизнь замысел пьесы – все это надежно скрывало истинную причину, сделавшую его неуязвимым для сцен, которые устраивала ему Нелл, и помогавшую противостоять уговорам. К тому времени все происшедшее с ним, словно яд, проникло во все поры его существа: казалось, он задыхается в замкнутом пространстве, откуда нет выхода, или совершил инцест... и он знал, что только разлука может принести очищение. Ему как-то представилась возможность обсудить это с Джейн, и она согласилась, что, пожалуй, лучше ему не ехать. Примерно через неделю он понял, что скучает без них. Снова ощутил свое сиротство – и эмоциональное, и буквальное. Тетушка Милли и Кумберленд, где она теперь поселилась с замужней сестрой, другой теткой Дэна, только лишний раз напомнили ему о том, что его семья так и не смогла ему дать. Некоторой компенсацией были длинные письма от Нелл, хотя в них она поддразнивала его, рассказывая о бесчисленных «поклонниках» и «свиданиях» на Кейп-Код^[95], где они проводили каникулы. Он затаил обиду, но обида эта улетучилась через

десять минут... да нет, через десять секунд, как только Нелл появилась на вокзальной платформе в Оксфорде... ее руки обвили вокруг его шеи, ее озорной голос шепнул ему прямо в ухо: «А где тут ближайшая постель?»

А затем все изменилось, словно по мановению волшебной палочки. Они с Джейн словно сговорились не оставаться больше наедине. Порой, когда никто не видел, он ловил ее взгляд. Она нежно улыбалась ему и опускала глаза. Сказать было нечего и незачем – все кончилось: навсегда. Это каким-то образом было связано с ее обращением в католичество: оно неуловимо сказалось на отношениях всех четверых. Они не говорили об этом; тут работал тот же принцип, что и в охоте за орхидеями: обсуждение возможно лишь меж посвященными. Но в ту зиму что-то умерло в Джейн; Дэн все чаще и чаще видел в ее признании ему, в их краткой близости что-то отдававшее истерикой: девушка, следовавшая прежде всего велению разума, попыталась сыграть несвойственную ей роль или воспроизвести в реальной жизни сыгранную на сцене роль комической секс-бомбы.

Поначалу Дэн подозревал, что ее новая отрешенность тоже игра, чрезмерное вживание в роль новообращенной. Обращение в католичество казалось ему каким-то абсурдом, он не мог понять, зачем это вообще понадобилось. Эту сторону Энтони он всегда инстинктивно отвергал, хотя и мог бы оправдать рационально. Может быть, в этом и был какой-то элемент ревности, но Дэн чувствовал искреннее возмущение ее рабской покорностью тому, что сам он считал софистикой, изощренным мошенничеством, обманом доверия... возмущала ее подчиненность недостаткам мужа, а не его достоинствам.

Как ни странно, но больше всего была поражена этой переменой Нелл. Становилось все яснее, что ей, чтобы оттенить и дополнить ее собственный характер, просто необходимы та яркость и живость, которые были раньше так свойственны Джейн. Создавалось впечатление, что сестра завела ее в некий тупик и оставила там и теперь ей приходится искать выход самостоятельно. Большую часть той зимы Нелл вела себя с ними как избалованный ребенок в компании взрослых. Постоянно жаловалась Дэну: «*Опять она весь вечер ходила с видом святой Мадонны... прямо кошмар какой-то... и мы все почему-то стали такие скучные... честное слово, я ее просто не узнаю...*» Но что-то в Нелл в конце концов улеглось, она успокоилась, особенно когда сестра вышла замуж и молодожены переехали в Уитем. Дэн почти каждый вечер был занят в театре, и Нелл часто отправлялась побыть с сестрой. Они бегали по магазинам, выбирая мебель и всякое такое, и снова стали близки и неразлучны – хоть и не так напоказ, как в те времена, когда Нелл впервые появилась в Оксфорде и сестры получили свое университетское прозвище. Католичество Джейн стало привычным и уже не имело решающего значения.

Помимо всего прочего, вырос престиж Энтони: он блестяще защитил диплом, получив степень магистра первого класса, очень быстро стал вхож в круг философской элиты Оксфорда, и уже не было сомнений, что будет избран в ученый совет колледжа, как только проявит себя как преподаватель, вполне «вписавшийся» в обстановку. Все это совершенно его не изменило, он даже стремился несколько поубавить свою авторитарность *en famille*⁷, но все это, да еще и чувство счастья, которое он не мог утаить, повлияло на всех остальных. Подтвердилась мудрость принятого Джейн решения, или, по крайней мере, это решение теперь легче было понять. Дэн же испытывал душевные муки по поводу собственной не очень удачной карьеры, завидовал, ревновал... Он не завидовал академическому блеску Энтони, но ему был необходим успех. Пьеса, которую он тайком от всех отправил в театральное агентство, была отвергнута всеми прочитавшими ее режиссерами. Этот провал много месяцев подряд тяжелой ношей лежал на его плечах.

Нелл тоже изменилась. Их отношения никогда не отличались – во всяком случае, так казалось Дэну – правильностью и убежденностью, столь присущей отношениям Джейн и

⁷ В семье (*фр.*).

Энтони. Они понимали друг друга, им было хорошо друг с другом в постели, нравилось бывать вместе на людях. Но в Нелл всегда виделась Дэну какая-то неглубокость, ненадежность, нетерпеливость. Она обожала веселые вечеринки, забавных людей, ей нравилось флиртовать и строить глазки – «швыряться нежными взглядами», как однажды назвала это Джейн. Нелл всячески – в отличие от сестры – использовала свою внешнюю привлекательность, видимо, стремясь компенсировать что-то, чего ей недоставало. Однако новообетенная трезвость сестры повлияла и на нее. Она стала усерднее заниматься и неожиданно всерьез принялась выполнять роль хозяйки в квартире на Бомонт-стрит, куда переехал Дэн. Брак стал неизбежностью. Нелл, если сравнивать с тем, какой она была раньше, оказалась совершенно под каблуком (если можно так сказать о женщине) у Дэна. Дэну это нравилось; а когда они узнали, что Джейн ждет ребенка, его смутные переживания и неудовлетворенность, которую он все еще иногда испытывал, испарились совершенно. Он наконец примирился с тем, что его жребий – Нелл.

Но к тому времени, к той весне, Дэн написал уже четыре или пять пьес, сейчас точно не помню. Теперь у него хватило ума строить драматические сюжеты на событиях, характерных для того мира, который был ему хорошо известен, а не шить по канве воображения, не основанного на жизненном опыте; хватило у него ума и прислушаться к советам. К счастью, случилось так, что в студенческом театре появился один из самых знаменитых и мыслящих актеров Англии. Дэн отважился показать ему свою пьесу; актер заставил его переписать несколько сцен и выбросить парочку других. И тогда знаменитый добряк решил сыграть роль волшебника-крестного – и отвез пьесу в Лондон. В мае Дэн осознал, что первый решающий шаг к карьере профессионального драматурга сделан: он подписал свой первый контракт. «Опустевший храм» самым чудесным образом повлиял на состояние его духа, хоть и не на состояние его кошелька, и рассеял последние сомнения, какие Нелл могла все еще испытывать по поводу его занятий. Ему даже показалось, что он углядел некоторую печаль в глазах Джейн, когда она услышала замечательную новость, и – поскольку все человеческое оказалось ему не чуждо – внутренне хмыкнул, подумав об этом. Так что в целом тот год был добрым для всех четверых, многообещающим и светлым, это было время, когда то, что ты делаешь с собой, кажется много важнее, чем то, что ты делаешь другим, или то, что они делают тебе.

Никто из нас раньше не бывал в Италии: все здесь было новым и интересным. Нам нравился даже летний зной; мы влюбились в запущенную, но просторную, полную воздуха старую квартиру с высланным каменными плитами полом, в бесконечные сиесты, экскурсии и пикники, поездки в Кампанию. Носиться по округе мы не могли – зной и беременность Джейн этого не допускали. Мы с Нелл иногда отправлялись прогуляться вдвоем, но и вчетвером нам было очень хорошо, кажется, лучше, чем когда бы то ни было раньше. Между мною и Джейн – а в Риме нам порой приходилось оставаться наедине – ни слова не было сказано о прошлом. Я думал, мы стали ужасно взрослыми, научившись столь убедительно притворяться, что ничего между нами не было; мы могли обсуждать какое-нибудь полотно в музее или отправиться в магазин за углом, как старинные друзья. Она с благоговейным ужасом думала о будущем ребенке, в то время как Энтони переживал острый период младоотцовского невроза, буквально трясаясь над женой и волнуясь о благополучии своего первенца; но даже эта кувада^[96] делала его в наших глазах милым, не чуждым ничего человеческого. Все мы подсмеивались над ним за излишне суетливую заботливость, зато он смешил нас, указывая на нелепости католического Рима. И Джейн, и Энтони теперь довольно легко носили свои католические одежды. Мы с Нелл любили поддразнивать их из-за воскресной мессы: склонившись над путеводителем, они всерьез обсуждали (специально для нас устраивая маленький спектакль), какую из церквей посетить на этот раз, словно двое гурманов, выбирающих ресторан получше. А мы, в их отсутствие, праздновали собственную мессу, предаваясь любви на залитой солнцем террасе. И пришли к выводу, что они понемногу превращаются в узколобых мещан, но мы их все равно любим.

Истинной Библией для нас четверых в то лето явилась книга «Море и Сардиния»^[97]. Мы согласились, что имперский Рим вульгарен до умопомрачения. Все хорошее и доброе относилось лишь к Лоуренсу и этрускам. Мы отыскивали все места, так или иначе связанные с их историей. Изображали из себя язычников, а на деле были всего лишь обыкновенными оксфордскими эстетами.

Кульминацией и символом тех недель, исполненных охры и синевы, стала Тарквиния. Знаменитые склепы с росписями были все еще недоступны для публики, но Энтони вытащил на свет божий имя одного из своих новых друзей по профессорской, и хранитель разрешил нам осмотр памятника. Мы бродили там почти до самого вечера. Это был незабываемый день, а для меня он явился поистине аватарой – высшим воплощением почти всего, что я вынес из собственного детства в Девоншире. Я чувствовал, что воспринимаю все здесь гораздо глубже, чем Энтони, хоть он, разумеется, знал об этрусках гораздо больше, чем я, – с научной точки зрения. Думаю, именно там впервые я четко осознал бессмысленность такого понятия, как прогресс в искусстве: ничто не могло быть лучше, прекраснее того, что мы здесь увидели, до окончания времен. Заключение печальное, но в благородном, непреходящем, плодоносном смысле.

Мы вернулись в крохотный городок и уселись, прихлебывая вино и рассуждая – много-словно, как свойственно этому возрасту – о том, что чувствовал каждый, о том, как все это трогательно, как... и вдруг решили, что нам надо остаться здесь на ночь. Толкнулись в одну гостиницу, в другую – все было занято отдыхающими итальянцами. Но официант в одной из гостиниц указал нам уединенный *pensione*⁸ у самого моря, в трех милях от городка, и мы втроем убедили Энтони отбросить сомнения. В *pensione* имелась только одна свободная комната, но с двумя двуспальными кроватями, и мы отпустили дряхлое такси, доставившее нас до места. Мы долго сидели за ужином и снова пили вино в увитой виноградом беседке. Было душно. Слегка пьяные, мы спустились на берег и медленно шли вдоль кромки молчащего, неподвижного моря. Нелл и Джейн вдруг решили купаться. Разделившись на пары по полу, а не семьями, мы разделись. Я увидел, как девушки осторожно вошли в воду, потом обе повернулись и окликнули нас. Они стояли в свете звезд, взявшись за руки, словно две нимфы. На миг я даже засомневался, могу ли различить их, хотя Джейн была на один-два дюйма выше сестры. И подумал: «А ему не доводилось раньше видеть Нелл обнаженной – ее грудь, ее лоно». Тут Нелл сказала: – Ох, безнадежный случай! Они стесняются.

Девушки отвернулись и двинулись на глубину. Отмель была довольно длинной. Мы с Энтони последовали за ними. Они зашли в воду по пояс и бросились в плавать; одна из них при этом вскрикнула. И вот они уже плывут прочь. Через несколько секунд мы с Энтони плыли рядом с ними. Девушки остановились, едва доставая дно пальцами ног: море вокруг светилось. Малейшее движение оставляло на воде зеленоватый мерцающий след. Мы встали в кружок, заговорили об этом феномене, пропуская меж пальцев светящуюся ласковую воду. Джейн протянула руки Энтони и мне, Нелл последовала ее примеру. Получилось смешно, совсем по-детски, вроде мы затеяли водить хоровод или сыграть в «каравай». Кажется, тихонько кружиться всех вместе заставила Нелл. На такой глубине нельзя было двигаться иначе как очень медленно и плавно. Четыре головы, лишённые тел; касания под водой. Голая нога Джейн коснулась моей, но я знал – это случайность. Море светилось, и я видел, что Энтони улыбается мне.

Может, дело было в замечательных настенных росписях там, далеко за пляжем; может, просто в ощущении, что отпуск подходит к концу... нет, здесь было что-то более глубокое, какое-то мистическое единение, странно бесплотное, хоть наши тела и были обнажены. В моей жизни мне редко доводилось испытать религиозное чувство. Глубочайшее различие меж мной и Энтони – и двумя типами людей, к которым принадлежал каждый из нас, – заключается в

⁸ Здесь: пансионат (*ит.*).

том, что тогда я несколько мгновений чувствовал себя полно и безотчетно счастливым; он же, человек предположительно глубоко религиозный, воспринимал это всего лишь как несколько неловкую полуночную шутку. Я могу описать эту разницу и иначе: Энтони воспринимал меня как родственника жены, который ему приятен, а я его – как любимого брата. Это был миг непреходящий и в то же время мимолетный, миг предельной близости, столь же недолговечной, как и те крохотные организмы, что заставляли светиться воду вокруг нас.

Я много раз пытался так или иначе воспроизвести случившееся в своих работах... и мне всегда потом приходилось вычеркивать эти места. Потребовалось немало времени, чтобы я понял – даже атеист должен понимать, что есть святотатство. И утрата. Словно исчезнувшие с лица земли этрусски, мы никогда уже не сможем быть столь же близки, как были тогда. Наверное, я уже тогда понимал это.

Бумеранг

Меня разбудила стюардесса: Лондон, скоро заходим на посадку. Я пошел умыться и привести себя в порядок; еще раз перевел часы вперед. Когда вернулся, у моего кресла стоял Барни.

– Дэн, меня Маргарет встречает. Может, мы подбросим тебя в город?

Мне очень хотелось отказаться, но это выглядело бы грубой неблагодарностью. Кроме того, в это время ночи мне не придется приглашать их к себе – выпить чего-нибудь. Мы вместе покинули самолет и вместе прошли паспортный контроль; потом вместе ждали, пока появятся наши чемоданы. Барни отправился в дальний конец зала за тележкой. Все вокруг казалось нереальным, будто я все еще сплю и вижу дурной сон. Барни возвратился, широко ухмыляясь:

– То ли у тебя замечательная дочь, то ли у меня секретарша-телепат.

Я обернулся и посмотрел за таможенный барьер. Однако разглядеть вдалеке лицо дочери посреди смутной россыпи других лиц так и не смог. А Барни сказал:

– Она там с Маргарет. Так что, я думаю, у тебя теперь собственный транспорт есть.

За барьером приветственно поднялась рука, я махнул в ответ. Я же написал ей в телеграмме, чтобы не ждала и ложилась спать и уж вовсе незачем было мчаться в Хитроу. Багаж уже начал совершать медленное круговое движение по транспортеру. Все это камнем ложилось на душу... я не имею в виду багаж.

Жена Барни была по-прежнему непривлекательной малорослой женщиной, утомленной и увядшей, несмотря на всегдашнюю улыбку и яркий макияж. Она старилась некрасиво; впрочем, я ведь и раньше находил ее странно провинциальной рядом с искусственным горожанином Барни. Мне смутно помнился их дом в так никогда и не ставшем фешенебельным Масвелл-Хилле. У Каро был странный, какой-то испуганный вид: очевидно, из-за того, что не сообщила мне о новой работе сама. Она бросила было взгляд в сторону Барни, но я уже обнял ее и прижал к себе. Потом взял за плечи и, слегка отстранив, сурово произнес:

– Я, кажется, строго-настрого приказал...

– А я теперь сама себе хозяйка.

Я снова обнял ее и тут услышал голос Барни:

– Нечего волноваться, Кэролайн. Я дал вам блестящую характеристику.

– Благодарю вас, мистер Диллон.

Некоторую неестественность ее тона я принял за сарказм: она знала, что он сбежал из Америки раньше срока.

– Дэн, ты помнишь Маргарет?

– Ну разумеется.

Мы обменялись рукопожатиями и несколькими репликами о том, что вот Барни раньше времени вернулся домой, о том, как тесен мир... ни о чем. Вчетвером вышли из здания аэропорта, мы с Маргарет впереди. Я слышал, как Каро спросила Барни о каком-то его интервью, но не расслышал ответа. Когда они нас нагнали, Барни просил Каро не звонить ему на следующий день, если только «уж совсем не припечет».

– И ради всего святого, не сообщайте никому, что я вернулся.

– Понятно.

Последовало еще одно настойчивое предложение Барни пообедать как-нибудь вместе; мы проводили их до машины; потом я покатил тележку туда, где Каро припарковала свой «мини». Я внимательно разглядывал дочь, пока она отпирала машину: на ней было длинное пальто, которого я раньше не видел. И новое выражение лица. Она придерживала дверь, пока я укладывал вещи на заднее сиденье.

– Я знаю, почему ты вернулся. Мне мама вчера сказала.

– Она в Оксфорде?

– У Поросеныша свинка, довольно тяжелая. Ей пришлось на пару дней вернуться в Комптон.

Поросеныш – домашнее прозвище ее единоутробного брата, сына и наследника Эндру. В этом семействе в большом ходу был домашний жаргон в стиле Нэнси Митфорд^[98]. Я выпрямился и взглянул на дочь:

– Удивлена? – (Она кивнула и потупилась.) – Мне очень его жаль, Каро. Несмотря на все семейные передраги.

– Я понимаю, папочка.

Это ее «папочка» часто произносилось как бы в легких кавычках; на этот раз они были особенно заметны.

Она обошла машину и открыла дверь со стороны водителя. Я, согнувшись, влез и уселся рядом.

– Когда-то мы с ним были очень близки.

Она не сводила глаз с ветрового стекла. Машина Диллонов, чуть впереди нас, двинулась прочь.

– Просто очень грустно, что понадобилось такое, чтобы вы снова были вместе.

– Дорогая моя, если ты явилась сюда сказать мне, что твое поколение в нашем семействе считает поведение моего поколения кретинским...

– Я явилась сюда потому, что я тебя люблю. Это ясно?

Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Она включила зажигание.

– Я позвонила тете Джейн. Сегодня вечером. Когда получила телеграмму.

– Как она тебе показалась?

Мы тронулись с места. Каро неудачно перевела скорости и поморщилась.

– Держится. Как всегда. Мы больше обо мне говорили.

– Попробую отоспаться немного. Потом поеду.

– Ну да, – ответила она. – Я так и думала. Так ей и сказала. – Она поколебалась немного. –

Она очень тебе признательна.

– Да я сам искал повода. Очень соскучился по тебе.

Она с минуту ничего не отвечала, хотя губы ее слегка улыбались.

– Она хорошая?

Этот разговор должен был начаться, и я обрадовался, что Каро так легко и быстро подняла его сама.

– Да. И все-таки я соскучился по тебе.

– Говорят, она очень способная.

Я помолчал.

– Тебя это шокировало?

– Ну ты даешь. Глупости какие. Я сама была в тебя немножко влюблена.

– Вот теперь шокирован я.

– Я в школе всем своим друзьям и подружкам рассказывала, какой ты... сокрушительный.

– Как водородная бомба? – (Она усмехнулась.) – Да?

– Когда я была совсем маленькой и ты взял меня в Девон, в этот великий поход по земле предков... Тогда я в первый раз всерьез задумалась о вас с мамой. Не могла себе представить, почему она ушла от тебя – такого хорошего. – Она помолчала и добавила: – Разумеется, тогда я тебя еще как следует не знала.

– Ну, знаешь... Если бы ты вела себя не так мило...

Она по-прежнему улыбалась, но за улыбкой чувствовалась какая-то тревога, что-то, чего нельзя было сказать, что нужно было прятать под таким поддразниванием. Она прибавила

скорость, чтобы обогнать запоздалый грузовик. Мы направлялись в туннель, ведущий к шоссе М4.

– А как Ричард?

– С ним покончено, если это уж так тебя интересует.

Я бросил на нее короткий взгляд. Она чуть слишком сосредоточенно вела машину; потом скривила губы и пожала плечами. Как-то раз, давно, в период ее увлечения верховой ездой, я наблюдал за ней на ипподроме. Может, в чем-то Каро и недотягивала до идеала, но препятствия она брала с маху, без колебаний.

– Когда это случилось?

– С месяц тому назад. После моего последнего письма.

– Появился кто-то другой?

– Просто... – Она опять пожала плечами.

– Бедняга Ричард. Он мне нравился.

– Ничего подобного. Ты же считал, что он типичный итонский^[99] болван.

Такие споры между нами не были новостью. Она приучилась вот так мне перечить, когда я взялся выводить ее в люди: мол, может, она и дура, но способна отличить, что я на самом деле думаю, от того, что говорю ради ее ободрения.

– Ты оказался прав, – добавила она.

– Хочешь, поговорим об этом?

Мы выбрались из туннеля. Я не узнавал знакомых мест, как часто бывает после долгих странствий: все вокруг, даже хорошо знакомый ландшафт, утрачивает реальность. Да еще эта ужасная промозглая сырость английской зимы.

– На самом деле все это произошло в Комптоне. Мы поехали туда на выходные. Думаю, из-за того, что там его холили и лелеяли как будущего зятя. Смотреть противно. Это и было последней каплей.

– Да он-то чем виноват?

– Знаешь, он таким оказался мещанином – просто фантастика какая-то. В глубине души. Честное слово. Просто упивался всем этим. Подлизывался к Эндрю, совсем голову потерял. Притворялся, что ему очень интересно слушать про надои молока, про охоту и про бог знает что еще. И я вдруг поняла, что он пустышка. Притворщик. Во всем.

– Ну тогда ты правильно его выгнала.

Злосчастный Ричард во многом походил на Каро: университет ему тоже было не потянуть. Родители его владели одним из крупнейших лондонских издательств, и он изучал издательское дело, используя старинный английский принцип: поскольку естественные склонности человека, несомненно, наследуются, нет необходимости их проявлять въяе. Ричард походя усвоил кое-какие левые взгляды, общаясь с не вполне всем довольными подчиненными отца, но ему-то предстояло еще хуже управлять ими в будущем; впрочем, возможно, он просто опробовал на мне идеи, неприемлемые у него дома.

– Он был *до того отвратителен*, ты просто не представляешь! Заявил, что Флит-стрит на меня дурно влияет. Как-то раз сказал, что я становлюсь резкой. «А это просто вульгарно, моя милая». Я швырнула в него бутылку джина – совершенно вышла из себя. Наглость такая! И нечего ухмыляться, – добавила она.

– Но хоть часть квартиры уцелела?

– Это было у него дома.

– Прекрасно. Никогда не швыряйся собственным джином.

Каро закусила губы. Мы выехали на шоссе М4.

– Ты-то ведь знал – с самого начала. Мог бы предупредить.

– С моим-то умением выбирать идеальных спутников жизни...

– Мог бы и научиться.

– Уже поздно.

Она некоторое время переваривала мой ответ.

– Ты на ней женишься?

– Ее зовут Дженни. Нет. Не женюсь.

– Я не хотела...

– Я знаю.

Недопонимание... эта опасность всегда была присуща нашим с Каро отношениям. Что-то в ней и правда изменилось. Может быть, это было всего-навсего влияние нового, чуждого мира, где она успела пробыть полгода. Мне подумалось, что не все так гладко складывалось у нее на Флит-стрит, остались царапины; и оцарапать в ответ стало необходимым способом защиты. Я не согласился бы, что это «просто вульгарно», но в ней действительно появилась какая-то новая резкость, на смену былой наивности пришла некоторая агрессивность. Шуточка о влюбленности в меня ей и в голову бы не пришла полгода назад, а о глупости, присущей старшему поколению, вообще и намека быть не могло.

– Ну а как работа?

– Очень нравится. Даже сумасшедшие часы.

– А новый босс?

– С ним интересно работать. Все время что-нибудь новенькое – не соскучишься. Чуть не полжизни на телефоне вишу.

– Что же ты мне ничего не написала?

– Немножко боялась, что ты будешь... Я знаю, он когда-то кошмарную рецензию на тебя написал.

– Да он и хорошие тоже писал. Это не оправдание.

– И с орфографией у меня нелады.

Я почувствовал какое-то замешательство и решил смягчить ситуацию:

– Ну так и быть. Теперь я дома.

Но она явно все еще размышляла о том, как я обижен на Барни.

– На самом деле наполовину ты виноват, что я получила это место. Мне пришлось кое-что ему перепечатать, и он спросил, не однофамилица ли я. – Каро помолчала. – Не могла же я отказаться. Это ведь такое повышение.

– Ну разумеется. Я очень за тебя рад.

Минуту спустя она заговорила снова:

– Мама говорит, ты его недолюбливал.

– Ну, это все дела давно минувших дней.

– Вам удалось поговорить в самолете?

– Поболтали немного. О допотопных временах. Обо всем понемногу. О тебе.

– Знаешь, он ведь тебе завидует.

– Он вроде бы успел намекнуть об этом.

– В самом деле. «Зависть» – не то слово. Он говорит, его восхищает практически все, что ты делаешь.

– И не восхищает практически все, что делает он сам.

– Он ужасно не уверен в себе. В глубине души.

Я промолчал.

– Все они такие. Ты даже не представляешь, как им всем себя жалко. И приходится все это нытье выслушивать. Нам, секретаршам. А соперничество! Знаешь, все это так мелко: если А получает на полколони больше, чем Б, а В приглашен на деловой завтрак с начальством, а то еще фотографию Г поместили над подписанной им статьей... Если б они не встречались каждый день в «Эль Вино» да не грызлись там между собой, они бы все с ума посходили. Фактически Бернارد лучше многих из них. Он по крайней мере способен над всем этим смеяться.

В опубликованных им статьях Барни всегда писал свое имя полностью. Сейчас я заключил, что отныне и мне придется при встречах именовать его так же.

А Каро продолжала:

– Знаешь, это до абсурда похоже на деревню у нас дома. Сплошные сплетни, подглядыванье, и все всё про всех знают.

Я не мог не усмехнуться про себя: эта новая уверенность в праве судить, в собственной объективности... когда-то я старался уберечь Каро от обсуждения блестящих – или тех, что считаются блестящими, – сторон моей собственной жизни. Даже если в Оксфорде я и был подвержен самолюбованию, позднее мне удалось избежать той его отвратительной разновидности, что так свойственна миру кино. Дома, в моем кабинете, на стенах – полки с книгами и даже висит парочка зеркал, но совершенно отсутствуют награды и грамоты в рамках, золоченые статуэтки, афиши и кадры из фильмов – эти вечно лгущие зеркала успеха; точно так же я всегда держал дочь подальше от знаменитостей. Теперь я заподозрил, что в этом не было необходимости.

Потом мы поговорили о семейных делах, о дяде Энтони, о планах Джейн, об их детях. Каро стала больше похожей на себя прежнюю, какой я оставил ее прошлым летом. Мы приехали домой; я отнес чемоданы наверх, Каро шла впереди. Я чувствовал себя безнадежно проснувшимся, разрыв во времени начинал брать свое. Дженни сейчас уже у себя дома и принимает душ после целого дня съемок; в перспективе – свободный вечер. А может, она потопилась и уже переговорила с Милдред. Я ясно видел, как она собирает вещички, готовясь к переезду в «Хижину»; возникло острое желание позвонить в Калифорнию, но я убил его в зародыше. Пора отвыкать друг от друга.

У камина в гостиной стояли свежие цветы и непочатая бутылка виски, бутылка минеральной воды, бокал. Каро, в роли любящей дочери, включила электрокамин, убедилась, что я заметил все эти знаки внимания, это «добро пожаловать к родным пенатам». Я поцеловал ее в щеку.

– А теперь – в постель. Ты в десять раз лучше, чем я того заслуживаю.

– Когда ты предполагаешь завтракать?

– А когда тебе на работу?

– Это не важно. Бернارد ведь официально еще не приехал. Нормально, если я к полудню буду на месте.

– Вряд ли я долго смогу проспать. Разбуди меня, когда сама встанешь.

– Я постель приготовила и все, что надо.

– Спасибо огромное. И за то, что встретила. А теперь – марш отсюда.

Она ушла, а я налил себе виски и оглядел комнату. На одной из кушеток – новая подушка. Больше ничего нового; если не считать груды конвертов, с которыми я не собирался иметь дела до утра, комната выглядела точно так, как я оставил ее много месяцев назад; это меня разочаровало. Я надеялся, что Каро будет чувствовать себя здесь свободно, как дома, хоть и знал, что «домом» для нее навсегда останется Комптон. Это как Версальский дворец и домик в деревне... никакого сравнения.

Я побывал в Комптоне только раз, задолго до того, как Нелл стала женой его владельца. Эндрю устроил потрясающий бал в честь своего совершеннолетия^[100], и весь фешенебельный Оксфорд – студенты, разумеется, – явился туда в полном составе: без конца подъезжали машины, автобусы, даже экипажи... одна группа гостей, связанных с клубом «Буллингдон», приехала даже в карете, запряженной четверкой, причем кто-то трубил в почтовый рожок. Комптонская усадьба «Девять акров» (акров в те дни там насчитывалось не менее девяти тысяч) была не такой уж большой по сравнению с другими помещичьими усадьбами, но достаточно внушительной: сад и огороды, парк вокруг дома, комнаты – казалось, им несть числа, весь этот простор и изящество... Все это было неизмеримо далеко от тех областей жизни, от

тех миров, какие были мне хоть как-то знакомы. Я полагаю, что даже тогда эти праздничные два дня явились анахронизмом, неявным прощанием с прошлым; а для отца Эндрю это был последний всплеск протеста против послевоенного социалистического настоящего. Празднество, по всей вероятности, было одним из последних традиционных празднеств такого рода; дело не ограничилось балом: накануне в деревне, на общинной лужайке, устроили вечеринку для арендаторов и всех остальных жителей. Теннис, крикет, крокет, верховая езда, шампанское рекой и превосходная еда, и все это в период строгих ограничений и распределения продуктов по карточкам. Какой-то местный оркестрик в алой униформе, серебряные трубы поблескивают в тени огромного бука; на флагштоке трепещут надутые ветром брюки; Эндрю не просыхает с начала и до конца. Даже Энтони понравилось, хотя он едва был знаком с Эндрю в университете; мы попали в Комптон главным образом из-за девушек; не то чтобы тогда Эндрю проявлял к той или другой особый интерес. Вообще личная жизнь Эндрю в Оксфорде была вроде бы тайной для всех. Его порой видели с какой-нибудь девушкой, поговаривали, что он частый гость в мейфэрском публичном доме; однако он в наших умах гораздо больше ассоциировался с охотой, гончими и пьянством. Мы даже подозревали, что он не совсем ортодоксален в своих сексуальных пристрастиях; и я четко помню, как Нелл сказала, что уверена – он безнадежен в постели.

От Каро я знал, что дом и его прежний *façons de vivre*⁹ постигла общая для страны судьба: налог на наследство значительно сократил размеры имения, часть парка пришлось пустить под плуг; Нелл приходится довольствоваться (на что она не устает жаловаться) услугами итальянской пары и еще одной женщины, ежедневно приходящей из деревни. Но точно так же, как я тогда, взглянув одним глазком, позавидовал Эндрю – обладателю уходящего в прошлое мира, я теперь завидовал Каро – ей довелось воспользоваться тем, что от этого мира осталось. Хорошо метать политические громы и молнии в этот мир – ничего не может быть легче. Но он – как поэзия Эзры Паунда^[101]. Можно разнести в пух и прах его философию, но его строки, его образы остаются с тобой навсегда.

Я сидел в гостиной, потягивал виски и, снова испытывая соблазн винить во всем Нелл, думал о том, что ждет меня в ближайшем будущем. Наверняка она скоро вернется в Оксфорд побыть с Джейн; и, каким бы ни было грядущее примирение с ее родственниками, я сомневался, что наши с ней отношения могут быть хоть сколько-нибудь искренними. Хоть я и был – технически и юридически – виновником развода, истинной причиной разрыва, на мой взгляд, была она. Несомненно, все разводы повторяют историю Адама и Евы. «Бытие» хранит гробовое молчание о том, что произошло после изгнания их из Эдема, сообщая лишь, что они произвели на свет того, кто был убит, и того, кто убил. Порожденные нами Каин и Авель обрели форму абсолютного непощения.

Почти три года после бракоразводного процесса мы с Нелл совершенно не разговаривали. Время от времени она привозила в Лондон Каро, а я в тот же день отвозил дочь в Оксфорд. И в Лондоне, и потом в Оксфорде мы ледяным тоном произносили какие-то ничего не значащие слова над головой девочки, передавая ее из рук в руки. Через некоторое время, просто из вежливости, я был готов несколько оттаять, но только не Нелл. В один прекрасный день она написала, что ей нужно повидать меня в Лондоне без Каро. Нужно кое-что обсудить. Я предположил, что речь пойдет об алиментах. Я уже мог позволить себе выплачивать ей более крупную сумму, но решил без боя не сдаваться. Нелл была далеко не бедна и знала, что я знаю об этом. Мы договорились о деловом завтраке. Но она явилась вовсе не за тем, чтобы урвать побольше. Она собралась замуж. За Эндрю.

Я до того удивился, что поначалу мог лишь недоверчиво повторить его имя. Я читал о смерти его отца – это было как раз во время нашего развода – и понимал, что Эндрю уна-

⁹ Стиль жизни (*фр.*).

следовал его титул; однако со студенческих дней он так и остался в моей памяти высокомерным молодым выпивохой, позером, с отвратительно манерной речью, этаким гибридом Тони Лампкина^[102] с повесой периода регентства... не говоря уж о том, что для нас четверых он был воплощением всего, что мы презирали (или тщились презирать). Единственной достойной чертой в нем мы считали его способность «скандализовать» окружающих, за что его и терпели. Моей инстинктивной реакции так и не простили, и я был наказан молчанием о том, как они встретились; мне было сообщено лишь, что это произошло примерно полгода назад, в Оксфорде, совершенно случайно. А теперь оказалось, что он по уши в нее влюблен, – «просто фантастика какая-то». Я отметил, что про себя она ничего подобного не сказала. Держалась той линии, что ей следует подумать о Кэролайн, которая вроде бы его просто «обожает». Они некоторое время гостили в Комптоне.

Пришлось принять все это как свершившийся факт, каким бы невероятным он ни казался; единственное, чего я не мог понять, – зачем ей понадобилось беседовать со мной об этом вот так, лицом к лицу. Нелл произнесла небольшую речь о том, что Каро – моя дочь, и что я «предположительно» интересуюсь «хотя бы немного» ее будущим, и что нам придется обсудить новые финансовые проблемы. Меня не обманул этот неожиданный переход от враждебности к стремлению посоветоваться; подозреваю, что Нелл полунадеялась, что меня охватит злобная ярость или я попытаюсь ставить ей палки в колеса; а может быть, это Энтони и Джейн, хоть и навсегда порвавшие со мной, не пожелали поступиться принципами и уговорили Нелл. Я абсолютно уверен – она вовсе не пыталась найти хоть какой-то путь к примирению; скорее, похоже, ей хотелось показать мне, до чего я ее довел... что было совершенно абсурдно. Эндрю богат, у него прекрасный дом и титул баронета; я даже мог поверить, что он в нее влюблен: ведь у него, по всей видимости, был весьма широкий выбор среди подходящих девиц его собственного круга. А Нелл... скорее всего, она и сама не знала, зачем приехала. Она очень нервничала; это было первое в ее жизни самостоятельное решение такого масштаба, и я мог бы отнестись к ней добрее.

Итак, она вскоре стала леди Рэндалл. С тех пор мы с ней встречались раза три-четыре, не больше, и ненадолго. И всегда, кроме одного раза, в присутствии Каро; и всегда мы вели себя самым лучшим образом. А в тот, другой раз, сравнительно недавно, с нами был Эндрю, поскольку следовало обсудить будущее Каро: она заканчивала школу. Встреча получилась довольно комичной: после первоначальной неловкой скованности (ведь двое мужчин не виделись со студенческих времен) мы с Эндрю обнаружили, что, если не говорить о разделявшей нас существенной разнице в образе жизни и политических убеждениях, мы оба интересны друг другу и нам вовсе не скучно вместе. Я вырос в деревне, и мне понравился умный и ухватистый сквайр, которого я распознал в бывшем повесе; он же, сохранив вкус к эпатажу, с удовольствием слушал байки о мире шоу-бизнеса, которыми я потчевал его со своей стороны. Поговорили мы и о студенческих днях в Оксфорде. Нелл становилась все молчаливее и молчаливее. А мы радостно пьянели. Я чувствовал – ему было бы приятно пригласить меня в Комптон, но отважиться на такую святость он не мог. Нелл заявила бы: «Только через мой труп!» Я был страшно рад, что она теперь его жена, а не моя, когда мы вышли от Уиллера и распрощались.

Все это прошло и быльем поросло; и теперь, сидя в своей квартире с очередной порцией виски, я вернулся мыслями к Дженни. Мне хотелось услышать ее голос: голос – как напоминание о более простом, не обремененном никакими приговорами настоящем. Возможно, Нелл была права: эту квартиру действительно обволакивала аура отчаяния, преходящести, ложного выбора. Я не сводил глаз с телефона, уже готовый сдать. И тут вдруг реальное настоящее опять возникло передо мной: Каро, в длинном, до пят, халате, стояла в дверях. Я сразу понял – что-то случилось. Она должна была лечь уже минут двадцать назад и вот стоит в дверях с видом непослушного и обиженного ребенка.

– Не могу заснуть.

– Тогда выпей со мной.

Она отрицательно покачала головой, но в комнату все-таки вошла. Направилась к окну – шторы не были задернуты – и уставилась в ночь. Я произнес:

– Каро?

Несколько секунд она молчала.

– У меня роман с Бернардом, пап. – Она не сводила глаз с улицы за окном. – Прости, пожалуйста. Не знала, как тебе сказать об этом пораньше.

Ее слова меня потрясли, но недоверия не вызвали, скорее недоумение, мог ведь и сам, дурак, догадаться. Они, разумеется, старались отвести мне глаза, но улик было предостаточно.

Она прошептала:

– Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь.

– Да как это произошло, господи ты боже мой?

Она пожала плечами, по-прежнему глядя в окно: как такое вообще происходит? А мне хотелось спросить, что же она в нем нашла. Он выглядел ничуть не моложе своих лет – во всяком случае, так мне показалось, я даже поздравил себя с тем, что у меня нет ни таких мешков под глазами, ни животика, что я не так изношен физически, не так обрюзг...

– Я не знала, что вы вместе летите. В последнем разговоре он сказал – пробудет еще дня два. Я, когда его... жену увидела, чуть не убежала. Но она заметила меня раньше.

– Она знает?

Каро покачала головой:

– Думаю, подозревает. Но их брак уже много лет просто пустая скорлупа.

– Ты его любишь?

– Мне его жалко. Не знаю.

– Ты поэтому не писала?

Она кивнула, и на миг мне показалось, что она вот-вот расплчется. Я встал, принес еще бокал, плеснул туда немного виски и подошел к ней.

– Пойдем посидим.

Она послушно пошла со мной к кушетке, примостилась у меня под боком.

– А мама твоя знает об этом?

– Нет, я не хотела бы... Не говори ей, ладно? Пока.

Мы не смотрели друг на друга, разглядывали каждый свой бокал.

– А почему ты решила мне сказать?

– Потому что почти всю жизнь не могла говорить тебе правду. Потому что... – Она снова пожала плечами.

– Ты, кажется, чувствуешь себя несчастной из-за всего этого.

– Только потому, что приходится на тебя все это выплескивать.

– Только-то?

– Еще и с женой его вдруг встретила. – И добавила, совсем тихо: – И прилетел, не предупредив.

– Ты что же, думаешь, он до тебя жене не изменял?

– Я не настолько наивна.

– Тогда ты представляешь себе перспективу. Маргарет... Он ее не бросит. – Я помолчал. – Бог знает почему. – Каро не ответила. – Ты из-за него рассталась с Ричардом?

Она покачала головой:

– Да нет. Это назревало давным-давно.

– Но секретарем у него ты поэтому стала?

– Между прочим, работник я хороший. Хоть это и может показаться невероятным. – Она бросила на меня быстрый взгляд: – Что тут смешного?

– Твоя матушка как-то швырнула в меня точно такую же незаслуженно саркастическую фразу. Правда, в ином контексте.

– Извини.

– Моя дорогая, меня волнуют вовсе не твои успехи в стенографии.

– А то, что я связана с кем-то, кого ты презираешь?

Она пристально рассматривала ковер. Я сказал – очень ровным тоном:

– Я не презираю его лично, Каро. Во всяком случае, не больше, чем любого другого в газетном мире.

– В мире, куда я попала по твоему совету.

– Вину признаю. Но я надеялся, ты оценишь этот мир по достоинству.

– Как оценивает его Бернард. И гораздо точнее, чем тебе представляется.

– И продолжает в этом мире существовать?

– Ему не так повезло, как некоторым другим. Помимо всего прочего, на его попечении жена и трое детей.

– Ну ладно. Ты права. – Каро упрямо рассматривала ковер: она снова брала препятствия, только на этот раз похоже было, что наездник забыл, какое именно препятствие нужно брать следующим. – Скажи мне, что тебе в нем нравится?

– Он печальный. И добрый. Сам по себе. И такой благодарный.

– Еще бы.

Она помолчала.

– А еще – с ним можно поговорить.

– Это упрек? – Она потрясла головой, но не очень убедительно. – Давай выкладывай начистоту.

– Seriously поговорить.

– О чем?

– О чем угодно. О том, о чем с тобой я говорить не могу. И с мамой тоже.

– Например?

– Ты, кажется, никак не можешь понять, что можно любить вас обоих. При всех ваших недостатках и ошибках. – Прежде чем я успел рот раскрыть, она продолжала: – Я прекрасно знаю, какой она может быть стервой. Но знаю и то, что у нее есть основания – пусть и вполнину не такие значительные, как она сама полагает, – считать тебя самовлюбленным эгоистом. Дело не только в вас двоих. Это всей семьи касается. Мы, кажется, столько всего предали анафеме, столько всего похоронили...

– Ты же знаешь, что произошло.

– Да я же не о прошлом. О том, что я чувствую по отношению к вам обоим. *Сейчас*.

– А он – слушает? – Она кивнула. – И у него это серьезно? – Она ничего не ответила, и мне пришлось подыграть ей: – Если это не слишком старомодно звучит.

– Он чувствует себя виноватым... Перед женой.

Я не очень-то поверил в это, поскольку подозреваю, что чувство вины, как и порядочность, – слишком привлекательный и удобный предлог, чтобы не воспользоваться им к своей выгоде.

– А если в один прекрасный день он решит, что ни в чем перед ней не виноват?

– Ну, голову я пока не потеряла. Об этом речи нет.

Мы долго молчали. Я допил оставшееся в моем бокале виски; Каро так и не притронулась к своему.

– Он об этом должен был мне позвонить?

– Мы с ним обсуждали такую возможность. Он прекрасно понимает, что ты должен чувствовать.

– А ты?

– Сначала – нет, не понимала.
– Ты считаешь, у меня самого рыльце в пуху, не правда ли?
– При чем тут это? Никто об этом и не думает.
– В самом деле?
– Папочка, я вовсе не страдаю из-за того, что ты по-прежнему привлекателен как мужчина. Я понимаю, ты никак не можешь быть Эндрю.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я знаю, ты с презрением относишься к миру, в котором он живет. Но как отец он гораздо лучше тебя. – Она помолчала. – Может, просто потому, что он всегда рядом. И умеет ладить с мамой.

После довольно долгой паузы я сказал:

– Ты, кажется, полагаешь, что я презираю всё и вся, Каро.
– Ты надеешься, что каждый станет думать и чувствовать так же, как ты. – Она опять помолчала, потом добавила: – Да я ни в чем тебя не виню; ты, скорее всего, прав насчет Флит-стрит, но... – Она снова покачала головой.

Я не понял, винит она мою работу или мой характер; упрек был вовсе не нов, хотя никогда раньше стрела не падала так близко к цели. Единственное утешение, что за всем этим Каро, должно быть, скрывала какие-то собственные сомнения.

– Обещай мне по крайней мере, что ты, когда выйдешь замуж, заведешь себе не одного ребенка.

Она испытующе заглянула мне в глаза:

– Почему ты это сказал?
– Потому что единственные дети всегда прежде всего поглощены собой. Но вдобавок им трудно себе представить, что кто-то другой может реально в них нуждаться. И дело не просто в том, что для этих других у них времени не хватает.

– Я имела в виду только твою работу. – Она грустно улыбнулась. – Во всяком случае, уже поздно менять тебя на кого-то другого. – Она протянула мне свой бокал: – Не хочу.

Я перелил его содержимое в свой. Каро поднялась и подошла к камину. Остановилась там, ко мне спиной.

– Ты сердишься, что он сам тебе не сказал?
– Я понимаю, это вовсе не легко. Только не надо было ему лезть из кожи вон, чтобы выставить себя трагическим неудачником. Кого он дурачит, хотел бы я знать.
– А мне казалось, что ты-то его сможешь понять. Ты сам всегда... – Она резко оборвала фразу.

– Продолжай. Момент истины.
– Ты сам не очень-то рекламируешь собственные профессиональные успехи.
– В основном потому, что насмотрелся на киношных деток, приученных к постоянному восхищению и не способных ни о чем судить критически.

– Я только недавно осознала, как успешно ты меня запрограммировал. А на работе многие считают – мне повезло, что у меня такой отец.

– Просто они на жизнь смотрят через газетные вырезки.

Каро с минутку помолчала.

– Когда Бернارد ноет, у него это гораздо убедительнее получается. На него вечно все нападают. А на тебя – никто никогда.

– Деточка, это ведь только подтверждает мою правоту. Мужчины средних лет, может, и кажутся зрелыми, знающими и всякое такое. Но когда они заводят себе подружек твоего и Дженни возраста, они все это утрачивают. В глубине души они остаются растерявшимися подростками. Так и живут в вечном страхе. Паникуют.

– Ну а ты-то с чего паникуешь?

Она произнесла это тоном, в котором странно смешались робость и агрессивность. Но меня это растрогало – так четко здесь отразилась та пропасть, что пролегла между нами. Я вспомнил сдержанную нетерпимость Дженни по тому же поводу. Разница в возрасте между ними была всего около трех лет, но Дженни – девочка гораздо более умная и самостоятельная, чем Каро; мне показалось, я почти понял, что могло бы подвинуть отца и дочь на совершение инцеста... необходимость исторгнуть невысказанное из сказанного, добиться простоты, заменив ею затмевающую понимание сложность.

– Об этом мы поговорим в другой день... или ночь. – По выражению ее лица я понял: она считает – ее водят за нос – Каро, Дженни гораздо опытнее тебя. У нее выработалось что-то вроде... брони, что ли? Мне не хочется, чтобы тебе причинили боль. Воспользовались тобой. Только и всего.

Кажется, мы с ней зашли в тупик. Каро принципиально не желала ничего знать о Фрейде, кстати, с классической трагедией она тоже не была знакома. Я вполне мог себе представить, зная, как ограничен ее культурный мир и какой всепоглощающей манией стало в Англии телевидение, что к Барни влечет ее гораздо более земной интерес. Его имя звучало с экрана, он стал как бы членом каждой английской семьи; и точно так же, как, играя на публику перед телекамерой, он надевал маску либерального интеллектуала, перед Каро он разыгрывал роль трагического Паяца: я догадывался, что делал он это вполне убедительно. Для него это была бы просто детская игра – представиться обаятельным и в то же время ранимым этой наивной девочке, которая к тому же наверняка чувствовала себя не в своей тарелке и нуждалась в поддержке. Если моя собственная история болезни отличалась меньшим количеством пятен, то лишь потому, что Дженни хватало не только скептицизма, но и решимости этот скептицизм проявить, как только рыдания становились слишком громкими.

– Ты ему скажешь, что мы поговорили?

– А как иначе?

И снова – молчание. Я-то молчал, пытаюсь задушить в зародыше вопросы, которые невозможно было задать: каков он в постели? а ты его сюда приводила? кто еще об этом знает?.. Каро достаточно хороша собой, чтобы его влекло к ней физически, но в газете работали десятки таких же хорошеньких девиц, обладающих еще и другими качествами и благодаря им более привлекательных вне постели, чем Каро, – по крайней мере для мужчин вроде Барни. Я злился все больше, настолько, что уже готов был схватить телефонную трубку и сию же минуту сказать этому подонку все, что я о нем думаю. Кончилось тем, что я пошел и налил себе еще виски. Мне хотелось обнять дочь, прижать к себе; но я подумал – получится плохо, фальшиво.

– Почему ты решила мне рассказать, Каро? – (Она, опустив глаза, рассматривала камин и ничего не отвечала.) – Ты ведь могла по-прежнему держать это все в тайне.

– И не беспокоить тебя?

– Удар ниже пояса.

– Извини.

– Тогда объясни. – Она все молчала. – Ты хочешь, чтобы я что-нибудь сделал?

– Может, просто постарался бы понять.

– И дал бы свое благословение?

Она отвернулась.

– Почему Дженни Макнил тебя любит?

Тут я почувствовал, что бумеранг возвращается и вот-вот ударит.

– «Любит» – вряд ли подходящее слово.

– Ну употреби любое слово, какое найдешь подходящим.

– Чтобы ты могла его употребить в ответ? – Это прозвучало слишком резко, и я поспешил продолжить: – Она просто была выбита из колеи тем, что увидела в Лос-Анджелесе. Одинока.

А опыта с молодыми людьми ей вполне хватало. – Я помолчал и добавил: – Они не все похожи на Ричарда, знаешь ли.

– Это я могу себе представить.

– Я вовсе не сержусь, Каро. Только бы ты была счастлива.

– Была. До сегодняшнего дня.

– У меня это пройдет. Прояви хоть чуточку снисходительности.

Она кивнула, повернулась и присела на ручку кресла.

– Мне надо сказать тебе еще кое-что.

– Что такое?

– Я сегодня полдня потратила на поиски квартиры. Кажется, нашла подходящую. Не очень дорогую.

Вот теперь мне очень захотелось на нее обозлиться; я пожалел, что я не американский еврей и не какой-нибудь папаша из рабочих, что я запутался в паутине непереносимых условий английского среднего класса, запрещающих проявлять и тем более высказывать то, что на самом деле чувствуешь. Я понял, что меня собираются взять как препятствие, на полном ходу... или пиши пропало.

– Но ведь я собираюсь уехать в Торнкум, как только смогу.

– Пап, я думаю, мне лучше переехать.

– Где это?

– Недалеко от Парламент-Хилла. В Кентиш-Тауне.

– Довольно грязный район, мне кажется.

– Дом вполне приличный.

– Тогда позволь мне...

– Я сэкономила довольно большую сумму. Живя в твоей квартире.

Мы поспорили, но она была тверда, и я понял, что Кентиш-Таун для нее что-то вроде символа: поселяясь там, она отвергает не только отца. Еще я вспомнил, что это по дороге к Масвелл-Хиллу. Квартира, похоже, освободилась через пару недель. Мебель там была, но Каро собиралась «одолжить» у меня стол и пару-тройку других вещей. Возможно, она просто хотела дать мне почувствовать, что я еще хоть как-то нужен ей. И воцарилась тишина: так мало мы могли сказать друг другу и так много надо было сказать. Она поднялась... И взяла последний барьер: подошла, встала передо мной, неловко наклонилась и поцеловала меня в щеку. Позволила мне обнять ее и на миг прижать к себе. Повернулась и вышла из комнаты.

Стоп. Выключить камеру.

Вперед – в прошлое

Шестью часами позже: десять часов утра, пронизывающий холод лондонской зимы; промозглый туман за окном, окутавший все вокруг; мне все-таки удалось поспать, хоть и далеко не достаточно, к тому времени как в дверь постучала Каро. Лежа в постели, я переживал следующую стадию дезориентации, порожденной долгим отсутствием: я никуда не уезжал из Лондона, Калифорния мне просто приснилась. Наверное, мне и правда снились тяжелые, тревожные сны, но я ничего не мог вспомнить, может быть, потому, что реальные тревоги нахлынули сразу же, вместе с серым утренним светом: ночной разговор с Каро, грядущий мучительный день в Оксфорде; надо позвонить Дженни, потом Дэвиду Малевичу, разобрать всю накопившуюся почту, связаться с банком, договориться с дантистом... Реальность... Избыток реальности.

Каро очень мне помогла. Устроила настоящий пир – накормила меня истинно английским завтраком, не какой-нибудь европейской чепухой; бросила искоса осторожный взгляд от электроплиты. Сказала, что хотела бы загладить то, что случилось ночью, так что примирение прошло без сучка без задоринки. Она более подробно рассказала о квартире, присев напротив, пока я насыщался, а я заставил себя воспринимать все это как нечто совершенно естественное: ведь ей хочется строить свою собственную жизнь, жить как все ее сверстницы. О Барни мы ни словом не обмолвились. Я принялся расспрашивать ее о Джейн и Энтони. За последние два года мне удалось добиться, чтобы она говорила о Комптоне и его обитателях если не так уж откровенно, то во всяком случае без излишних эмоций; однако это не относилось к ее оксфордским родственникам. Я кое-что знал о трех детях Энтони и Джейн, но совершенно не представлял себе, какими стали теперь они сами. Хотя Каро мельком упомянула о том, что Энтони иногда приводит ее в замешательство – он так сух, что порой не разберешь, шутит он или говорит серьезно, – я чувствовал, как нежно она привязана к ним обоим. Они относятся к ней как к собственной дочери, она всегда это чувствует. Кажется, тетя Джейн уже «слезла со своего католического конька», но это «такая вещь», которую вслух не обсуждают. «Тетя Джейн ужасно активная, у нее там комитеты и комиссии и всякое такое, гораздо практичнее, чем мама, а готовит как – пальчики оближешь, тебе бы у них понравилось. Дядя Энтони все еще с ума сходит по своим орхидеям, отыскивал какую-то редкость в Комптоне, года два-три назад, не помню, как называется».

Пока она вот так болтала, я составил себе впечатление, что Джейн изменилась гораздо больше, чем Энтони. Мне помнилось, что как хозяйка она отличалась скорее небрежным отношением к готовке, а с солидными комитетами и комиссиями, и тем более с левыми убеждениями, я ее связать вообще никак не мог. Эту последнюю деталь я почерпнул из оброненного дочерью замечания, что Эндрю иногда в разговоре с Каро называл Джейн «твоя красная тетушка»... впрочем, несомненно, что даже самый слабый розоватый оттенок показался бы Эндрю ярко-красным. В конце концов я нарисовал себе энергичную, волевою, прекрасно владеющую собой женщину, что в глазах Каро должно было выгодно отличать тетку от невыдержанной и порой слишком властной матери.

Каро отправилась на работу чуть позже одиннадцати, снабдив меня записками для оксфордских родственников. Я обещал позвонить вечером и сказал, что, как только вернусь, мы с ней проведем вместе целый вечер. Мы поцеловались. Потом я стоял у окна и ждал, когда она выйдет. Тоненькая фигурка пересекла утонувшую в тумане улицу и направилась к станции метро. Потом Каро обернулась и помахала мне рукой; я помахал в ответ.

А я пошел и заглянул в ее комнату – ту самую, в которой она спала еще ребенком, хотя с тех пор комнату несколько раз ремонтировали. Картина была довольно грустная, чем-то напоминавшая квартиру Дженни в Лос-Анджелесе: обезличенное, временное обиталище, чуть слишком прибранное и опрятное, словно Каро по-прежнему жила в общежитии. Ни разбро-

санной одежды, ни забытой не на месте косметики, ни беспорядка, какой можно было бы увидеть в комнате студентки ее возраста. Никаких книг. Картина, порванная и без рамы: старая ломовая лошадь – мы купили ее на развале, на Портобелло-роуд^[103], как-то утром в субботу, перед самым моим отъездом в Калифорнию. Несколько снимков заткнуты за раму зеркала на туалетном столике: Комптон и его обитатели; и еще один, присланный мною, – «Хижина» в саду у Эйба. Думаю, я пытался найти какие-то доказательства, что Барни бывал здесь... или письма – сам не знаю. Но ящиков я не открывал. На самом деле я пытался отыскать Каро.

Вполне возможно, ее комната в Комптоне была точно такой же; во всяком случае, именно такой была другая ее комната, которую я знал, – в Торнкуме. Все то предприятие мне тоже следует считать провалом, по крайней мере в том, что касалось Каро: еще одно поражение, гораздо более тяжкое, опять-таки нанесено мною же запущенным бумерангом.

Как-то, в начале шестидесятых, она приехала ко мне на Пасху – побыть со мной целую неделю. Ей только что исполнилось одиннадцать, и до сих пор мы с ней никогда не оставались так надолго одни. Я просто трепетал от волнения; она, думаю, тоже. Наш первый день в Лондоне шел через пень-колоду, когда вдруг мы заговорили о ее дедушках и бабушках. Казалось, ее вдруг озарило, что ведь и с моей стороны у нее были дед и бабушка, которых она никогда не знала. Я рассказал ей немного о том, как сам жил в ее возрасте, – и заметил искорку интереса, любознательность, нечто абсолютно новое в наших с ней отношениях. Я тут же отказался от программы, которую более или менее наметил на эту праздничную неделю, от всех этих музеев, детских фильмов, спектаклей. Тут же предложил ей отправиться в Девон, в «великий поход по земле предков». Сначала она была несколько шокирована моим легкомыслием – маленьким девочкам свойственна взрослая серьезность, – но потом так загорелась этой идеей, что я просто проклинал себя за то, что не подумал об этом раньше. Со смерти отца я побывал в Девоне только раз: устроил примерно такое же путешествие с тетушкой Милли, лет за шесть до этого. Думаю, сам того не сознавая, я испытывал муки совести. И сейчас меня вдруг потянуло туда точно так же, как Каро. На самом деле никаких серьезных планов у меня не было: эти места существовали для меня в дальней перспективе... или так мне хотелось считать. Каждый год я посылал местному священнику пять фунтов, чтобы он оплачивал уход за могилами моих родителей, и по глупости своей надеялся столь мизерной ценой купить забвение.

Мы побывали в церкви и постояли у могил бабушки и дедушки Каро. Она казалась смущенной и печальной... и я постарался рассмешить ее рассказами о проповедях, которые вынужден был слушать столько воскресений подряд, об апостолах и пресвитерах на крестной перегорожке, о куманской сибилле, об абсурдности и допотопности всего этого. Впрочем, когда мы с ней стояли у могил, кое-что опечалило и меня. Впервые за много лет я вспомнил те приулы, что когда-то каждую весну цветным ковром устилали могилу моей матери.

Зашли мы и в пасторский дом. Снаружи он выглядел почти так же, как раньше; но огород исчез и фруктовые деревья тоже. Теперь на их месте было построено новое здание деревенского совета, а перед ним еще пол-акра занимала усыпанная гравием площадка; в первый момент это показалось мне гораздо большим кошунством, чем если бы снесли саму церковь. Однако за домом часть сада сохранилась, хотя им теперь явно занимались не столь любящие и умелые руки. Но *Osmanthus* цвел по-прежнему, и мирты тоже, и *Trichodendron* раскинул ветви, усыпанные алыми бутонами... и я даже смог покрасоваться перед Каро и женой теперешнего священника, назвав все эти растения по именам.

Я снял номер в гостинице в Торки, но повез туда Каро через Торнкум – не из-за нее, из-за себя. Так я и узнал, что ферма продается. Там уже никто не жил, и я совершил роковую ошибку, дав Каро уговорить меня посмотреть дом и сад. К моему немалому удивлению – поскольку сама-то она жила в роскошной помещичьей усадьбе, – она просто влюбилась в Торнкум; я был растроган... она, разумеется, не могла знать почему; хотя, пока мы бродили по двору и заглядывали в окна, я рассказал ей немного о людях, что когда-то здесь жили. Ей хоте-

лось бы, чтобы я жил в таком доме, она держала бы здесь свою лошадку, а я снова мог бы посещать церковь: в те далекие дни мы совершили огромный прыжок в наших отношениях, и она училась робко поддразнивать меня; я смеялся и осторожно поддразнивал ее в ответ. Может, я и куплю эту ферму – для нее. Каро понимала – я это не всерьез; я и сам считал, что шучу, хотя из этого разговора случайно узнал, что ей не нравится, как я живу в Лондоне. Уходя, я обратил внимание на дату проведения аукциона: объявление висело на доске у въезда в проулок.

И не смог забыть эту дату, как не смог забыть и то, что таилось в подспудных глубинах проведенного с дочерью дня, когда вечером уложил ее спать. Спустился в холл и сел там с книгой, но читать не мог. Первое свидание с Торнкумом после долгих лет разлуки меня разочаровало – так бывает со всеми полными значения местами на эмоционально перегруженной карте детства и отрочества, которую мы уносим с собой во взрослую жизнь. Торнкум утратил свою зеленую таинственность, свою укрытость от мира, свое очарование; он казался маленьким и сгорбившимся, словно карлик, и каким-то обыкновенным. Может быть, из-за того, что я был с Каро: она восхищалась наивно, но вполне тривиально тем, что для меня было чуть ли не священным. Были, разумеется, и другие причины: мне тоже надоел Лондон; я больше года путешествовал... Я стал ощущать потребность в отдыхе, необходимость где-то укрыться от суеты... Соблазн был сильный. И все-таки я видел все недостатки, всю безнадежность попыток притвориться, что я больше не лишен корней – ни по собственному желанию, ни по профессиональной необходимости; идиотизмом было бы вернуться туда, где тебя все еще помнили – как я успел обнаружить за чашкой чая у пастора, – и помнили совсем другим. К тому времени, как я отправился спать (Каро мирно спала в постели напротив), я напрочь выбросил из головы мысль о покупке фермы.

На следующий день мы поехали дальше на запад, но продолжали шутить о ферме. Придется купить, если она и вправду этого хочет; она делала вид, что очень хочет. Я понимал, что это желание не имеет никакого практического значения, но значит очень многое в наших с ней отношениях. Пару раз я поймал ее взгляд, устремленный на меня, взгляд странный; она покраснела, увидев, что я его заметил; и я понимал почему. Мы возвратились в Лондон, она уехала домой, и я скучал о ней гораздо больше, чем когда-либо раньше. Все вспоминал, как она стоит бок о бок со мной там, на церковном кладбище, не зная, как отнестись к двум заросшим ржым лишайником могильным камням; и видел в ней – себя.

За неделю до аукциона я сел в поезд, идущий в Ньютон-Эббот, потом взял такси, посетил агентов по продаже недвижимости и отправился прямо в Торнкум. День был серый, пасмурный, и все время, пока я был в Торнкуме, с неба сыпала морось. Фермерский дом – усталые призраки, опустевшие комнаты. В ньютонской гостинице я лег спать, почти уверенный, что пытаюсь поймать журавля в небе. Но наутро выглянуло солнце, и я решил подарить ферме еще один, последний, шанс. Я побродил по саду, поднялся на холм, пройдя буковой рощей, и былая магия этих мест стала прокрадываться в душу. Мне не нужны были тридцать акров пастбищных земель, принадлежащих ферме, но агент заверил меня, что пастбище можно будет легко продать потом или сдать в аренду. Дом и постройки требовали больших затрат. Кошмарные свинарники из шлакоблоков нужно было сносить, не менее уродливый амбар с сеновалом – тоже. Но я уже увидел, как можно переоборудовать старый дом с его замечательным крыльцом и два старинных каменных сарая позади него.

Не только чувство романтической ностальгии побудило меня в конце концов выложить деньги, но точно в такой же степени чувство гнева из-за того, что столь многое было обречено на мерзость запустения. Я уловил виноватые нотки даже в голосе агента по продаже недвижимости. Слишком много земель было продано с целью привлечь серьезные фермерские компании; слишком многое было просто разрушено, чтобы привлечь частных покупателей. А эта ферма осталась и стояла одиноко, как старый фермерский пес, – сравнение вовсе не случайное, я хорошо помнил такого пса, с того самого лета, когда все мое существование было связано

с этим домом: старый слепой колли по имени Верный, пристрелить которого было бы так же невозможно, как пристрелить старого слепого человека. Вот тут я и сказал себе: да это просто редаKTура, надо кое-что подсократить, в принципе – вовсе не плохая сцена, нужно только поработать синим карандашом и переписать набело. И еще – эти деньги скажут: «Каро, я тебя люблю».

Разумеется, она приезжала пожить на ферме, даже проводила там каникулы; приглашала друзей – погостить, и даже своего пони привозила из Комптона на специальном грузовичке; но она выросла; физическое созревание и элитная школа роковым образом стерли наивное восхищение одиннадцатилетней девочки. Странно, но Торнкум, казалось, даже отдалил нас друг от друга. Я чувствовал, что для нее ферма была в лучшем случае забавным местечком, в худшем – местом довольно скучным и, как выразился бы ее отчим, «плебейским»; помимо всего прочего, я и сам явно не очень-то всерьез к этой ферме относился. Каро никогда не чувствовала себя там дома, никогда не была влюблена в эти места, если не считать того единственного первого раза, да и то дело было просто в том, что она впервые почувствовала себя моей дочерью. В последние год-два мы бывали там немного чаще, но мне по-прежнему представлялось, что она приезжает туда из чувства долга. Нет, Торнкум не был для нее домом. В мое отсутствие сама она ни разу туда не приезжала.

Когда она закончила секретарские курсы, я всерьез подумывал о том, чтобы взять ее с собой в Калифорнию. Но было несколько соображений против: я не мог забыть о фиаско с Торнкумом; ей необходимо было встать на ноги, начать самостоятельно зарабатывать на жизнь в Лондоне (или хотя бы сделать все необходимые телодвижения в этом смысле); мне не хотелось ввергнуть ее в совершенно чуждый мир, с чуждой культурой, где мне поневоле пришлось бы надолго предоставить ее самой себе; она вряд ли захотела бы расстаться с Ричардом; ну и, конечно, не в последнюю очередь – Нелл, которая, не сомневаюсь, камня на камне не оставила бы от этой идеи. На окончательное решение повлияли и чисто эгоистические мотивы: одинокий волк в моей душе, ненавидящий всяческие помехи, хоть и не предвидел Дженни в моей жизни, но уже рисовал иные ситуации, в каких присутствие Каро могло стать нежелательным. Думаю, если бы она хоть намекнула, что хочет поехать... но она не намекнула.

А теперь я стоял в гостиной и смотрел на туман за окном, решая, рискнуть ли отправиться в Оксфорд на машине или поехать поездом. По радио предупреждали о тумане – плохая видимость на дорогах, сказала Каро. Предстоящая мне встреча принимала все более угрожающие размеры. Не то чтобы я не представлял себе, что может случиться, о чем пойдет речь, какие чувства будут затронуты. Как и в другие поворотные моменты моей жизни: если я ожидал неприятностей, я продумывал столько возможных вариантов, что, казалось, успевал полностью пережить грядущее событие до того, как его единственный вариант осуществлялся в реальности. Всякое писательство, для себя ли и совершаемое в уме или для публикации и осуществляемое реально, есть попытка уйти от обусловленного прошлого и будущего. Но гипертрофированное воображение столь же вредно для подготовки к реальным событиям, сколь оно полезно для писательской деятельности. Я знал, что никогда не скажу того, что успел отрепетировать, но перестать репетировать не мог.

В конце концов я заставил себя, как практичного американца, рассердиться на живущего во мне интроверта-англичанина и позвонить в справочную метеоцентра. Они не рекомендуют поездку на машине, ответили мне; так что я принялся выяснять расписание поездов. Потом, не дав себе времени для дальнейших раздумий, набрал оставленный мне Каро номер телефона в Оксфорде. Ответил молодой женский голос с иностранным акцентом. Миссис Мэллори нет дома. Но стоило мне назвать себя, как она стала менее официальна. Миссис Мэллори ушла в больницу, но предупредила, что я могу позвонить. Она меня ждет. Комната для меня приготовлена. Я попытался объяснить, что могу остановиться в отеле, но... нет-нет, она ожидать вас

здесь. Юная леди (а может, все дело в ее английском) говорила весьма непрекаемо, так что я сообщил ей, каким поездом выезжаю и что буду у них чуть позже шести.

Нарушитель молчания

На Паддингтонский вокзал я приехал рано и в купе первого класса оказался совершенно один, но к отходу поезда все места были заняты. Что-то в наглухо запертых лицах моих соседей, погруженных в вечерние газеты и журналы, заставило меня наконец ощутить, что я – в Англии: сознательная отгороженность, неприязнь к другому, будто каждый из нас испытывал неловкость из-за необходимости делиться с кем-то другим единственным средством передвижения, пусть даже и в купе первого класса. . . . Когда мы отъехали от станции, пожилая женщина в кресле напротив бросила взгляд на отдушину вентилятора: он был чуть приоткрыт. Минутой позже она взглянула на него снова. Я спросил:

– Закрывать?

– Ну, если только. . .

Я встал и закрыл задвижку, получив в ответ застывшую гримасу, долженствующую изображать благодарную улыбку; мои попутчики-мужчины исподтишка неодобрительно наблюдали за моими действиями. Главный мой грех заключался не в том, что я закрыл вентилятор, а в том, что посмел открыть рот. Нет другой касты в мире, которая была бы так уверена, что высшей мерой порядочности и хорошего воспитания в обществе является молчание; и никому другому не удавалось так удачно использовать это молчание, чтобы создать впечатление абсолютной племенной гомогенности^[104]. . . . На мне был пуловер с высоким горлом и спортивная куртка, купленные в Калифорнии, а не костюм и сорочка с галстуком, и мои попутчики, скорее всего, почувствовали во мне опасного чужака, которого следует научить вести себя по-английски. На самом деле я не осуждал их за это: я просто отметил эпизод, как отметил бы антрополог, и понял их – ведь я был англичанин. Когда ты вынужден находиться в замкнутом пространстве с людьми, совершенно тебе неизвестными, риск очень велик: ты можешь оказаться заложником, вынужденным уплатить выкуп – от тебя могут потребовать некую толику информации о себе. А может быть, все дело в произношении: страшно, вдруг выявишь малейшей фразой, к какому социальному слою ты принадлежишь, вдруг станет заметен диссонанс между твоим голосом и одеждой, между твоими взглядами и тем, как ты произносишь гласные звуки.

Это абсолютно нормальное, типично английское молчание встревожило меня гораздо больше обычного. Казалось, в этой тишине нет умиротворения, она взрывоопасна, эта тишина, она больше похожа на вопль; может быть, оттого, что молчание было так характерно для моего прошлого – и для семьи, в которую я теперь возвращался. Я давно исследовал этот страх перед обнажением чувств, это онанистическое стремление к уединенности, к личной тайне; я как-то даже использовал эту тему в пьесе, и вполне успешно; но то, что этот феномен до сих пор не уступает позиций, меня озадачило. Он прошел парадным маршем сквозь молодежную, а затем и сексуальную революцию, сквозь общество вседозволенности, «веселящийся Лондон»^[105] и все прочее. Таи, таи, таи, таись! Разумеется, эпизод в поезде ничего не значил сам по себе: просто шестеро представителей английского среднего класса желали, чтобы их оставили – каждого – наедине с собой. Но ведь этот страх украдкой проникает в личную жизнь, а губительное молчание уничтожает терпимость и доверие друг к другу, убивает чувство любви и милосердия: именно это и превратило в руины мой брак. Под конец мы стали пользоваться молчанием, словно мечом разящим.

Дэн и Нелл решили – возможно, это было реакцией на чадолюбивость семейства Мэллори – не заводить детей по меньшей мере год. Из чисто экономических соображений – во всяком случае, так они утверждали. Он хотел сначала посмотреть, как будет принят его драматический первенец – его пьеса, хотел доказательств, что ему следует продолжать. Оба мечтали переехать в Лондон. Необходимости работать у Нелл не было, но из двух сестер именно она

тогда была ближе всего к еще не сформулированным идеям «Движения за освобождение женщин». Разумеется, отчасти это было притворством: у каждого из нас был собственный доход, и, взятые вместе, эти средства худо-бедно давали нам возможность не работать. Если у нас и было туго с деньгами – тогда, так же как и потом, – то лишь потому, что мы оба были от рождения транжирами: Дэн – в знак протеста против собственного воспитания, Нелл – в полном соответствии со своим. Ни один из нас никогда не проявлял больших способностей к экономии.

«Опустевший храм» – пьеса, которой я намеревался исторгнуть из своей жизни дух отца, наконец появилась на сцене. Появились и рецензии – некоторые вполне приличные, другие просто хорошие; до некоторой степени тут сказалась традиционная снисходительность к новым именам. Поначалу кассовые сборы росли довольно скудно, но постепенно дела пошли лучше и лучше. Дэн впервые стал по-настоящему известен. Я думаю, уже тогда он должен был бы заметить красный сигнал опасности: Нелл гораздо более эмоционально, чем он сам, прореагировала на успех, впад в какое-то маниакально-депрессивное состояние. Она принимала любые похвалы за чистую монету, а всякую критику (вполне, кстати, оправданную: если уж взялся подражать Ибсену, не прибегай к мелодраматическим эффектам) – за личное оскорбление... как если бы под огнем критики оказалось ее собственное решение выйти замуж за драматурга. На каком-то приеме – они с Дэном только что переехали в Лондон – она по-глупому нагрубила театральному критику из журнала «Нью стейтсмен». А он даже и не писал о пьесе ничего дурного, просто не все в ней хвалил. Это послужило причиной их первой настоящей ссоры, когда они вернулись домой. Размолвка длилась недолго, Нелл плакала, в постели они были особенно нежны друг с другом. Дэну даже пришлось отговорить ее от того, чтобы завтра отослать покаянное письмо этому критику. В те дни Дэн объяснил это тем, что Нелл слишком отождествляет себя с ним самим. На самом же деле это было первым проявлением зависти к его профессиональному успеху.

В Лондон они все-таки переехали, но не столько благодаря скромному успеху пьесы, сколько потому, что Дэн совершенно неожиданно получил предложение написать киносценарий. Дэн убеждал себя, что предложение явилось как награда за талант создавать живые диалоги, выявленный театральной постановкой; опытный литературный агент растолковал бы ему, что его просто рассчитывают купить по дешевке. Сюжет был взят из никуда не годного романа о любовных перипетиях времен войны, который не только снимать в кино, но и читать не стоило. Но Дэн был молод и зелен, он решил, что может увидеть все это под совершенно новым углом зрения, был уверен, что сумеет оживить диалоги, а предложенные деньги, хоть и ничтожные по сравнению с его будущими гонорарами, казались весьма соблазнительной суммой. Кроме того, у Дэна возникли проблемы со следующей пьесой. Я мог бы сказать, что он колебался, а Нелл настаивала, но это было бы притворством. Весьма известный и совершенно бездарный английский продюсер, купивший книгу, льстил молодому драматургу открыто и явно, как это принято у киношников, а Нелл и Дэн единодушно проглотили наживку вместе с крючком. Был момент, когда они принялись каждый вечер смотреть новые фильмы, а потом разбирать сценарий каждого из них по косточкам, стараясь вынести для себя какие-то уроки. Дэн взялся читать киноклассиков и – как все начинающие – увлекся киножаргоном и пытался осуществить режиссуру на бумаге: мертворожденная идея, которой всякий порядочный сценарист на протяжении всей истории этого дела бежал как черт ладана. Скоро и Нелл нашла работу. Одна из ее оксфордских подруг уже некоторое время работала кем-то вроде младшего редактора в том самом издательстве, которое потом снова появится в моей жизни – в виде отвергнутого возлюбленного Каро. Издательству нужна была чтица рукописей, и Нелл охотно взяли по рекомендации подруги. Зарплата была преступно мала, едва покрывала расходы на одежду, и ничего интересного или значительного Нелл делать не поручали. Но ей разрешали большую часть времени работать дома, а Дэн все еще смотрел на мир сквозь розовые очки и счел, что это вполне компенсирует безбожную эксплуатацию и смертельную скуку. Они по оче-

реди сменяли друг друга у единственной пишущей машинки. Все это происходило в крохотной квартирке близ Бромтон-роуд, задолго до того, как район Юго-Запад-3 обрел свой теперешний шик и непомерные цены.

Та зима была довольно счастливой. Джейн родила дочь – Розамунду; Дэн и Нелл стали крестными родителями девочки. По-прежнему все четверо встречались довольно часто, то в Уитеме, то в Лондоне. Наступил момент, когда Дэн понял, что – как ни оживляй диалоги – скрыть присущую сюжету глупость и бессмысленность не удастся; однако первый вариант сценария был встречен гораздо благосклоннее, чем того заслуживал.

Это было так типично для английского кинопроизводства: взять изначально негодный замысел и задешево разработать его от начала и до конца, основываясь на том – достаточно правомерном – убеждении, что английский зритель не обладает даже и малой толикой вкуса, а также на убеждении не вполне правомерном, что Соединенное Королевство отделяет от Соединенных Штатов лишь водное пространство. В романе главный герой был англичанином, но ради «американского интереса» пришлось сюжет с самого начала подправить, хоть это ничего не изменило в той двухчасовой ерунде, которая в результате выплеснулась на экраны кинотеатров.

Дэну потребовалось несколько лет, чтобы понять, что абсолютная неспособность Англии создать сколько-нибудь порядочную киноиндустрию, не говоря уже о том, чтобы обрести нечто лучшее, чем чахлая поросль сколько-нибудь приличных киномастеров, в значительной степени объясняется нашим безошибочным стремлением поддерживать исключительно бездарных режиссеров... и соответствующим представлением, что какой-нибудь полуграмотный оператор или подхалимствующий пустозвон лучше, чем кто-нибудь другой, знают, как следует воспроизводить жизнь на экране. А ведь он мог бы усвоить этот урок уже от своего первого режиссера, которому едва-едва удалось проторить себе путь в тайное сообщество посредственностей, управляющих отечественной киноиндустрией вот уже четверть века.

Но все это – в ретроспективе. Дэн написал второй вариант сценария, ступил на самый краешек целлулоидного мира кино, и этот мир поглотил его, как поглощает актиния безмозглую креветку. Уже протянулись щупальца – контракт о новом сценарии был на подходе, да и с пьесой дело как будто пошло на лад. После первого сценария писать пьесу было одно удовольствие, так что Дэну удалось постепенно убедить себя, что сохранить обе профессии важно не только ради экономических, но прежде всего из творческих соображений. Даже Нелл получила что-то вроде повышения по службе – ей доверили читать корректуру. Она обладала необычайной, свойственной немногим женщинам способностью – была педантично аккуратна в пунктуации и не делала орфографических ошибок: еще одна черта, которую ей не удалось передать Каро. Кошмарное правописание дочери было одним из немногих пунктов, по которым у них в последующие годы не возникало разногласий.

Однако к тому времени – стояла весна 1952 года – в семейной лютне наметились первые трещины. Дэну приходилось вечно быть под рукой на студии «Пайнвуд»^[106], когда шли павильонные съемки, натуральных съемок было очень мало, все делалось на фильмотечных материалах и в рирпроекции^[107]. Нелл все чаще жаловалась на «скуку» собственной жизни по сравнению с полной впечатлений, «волнительной» жизнью мужа. Дэн взял себе за правило брать жену с собой на все приемы, просмотры и прочие мероприятия; Нелл даже пару раз приезжала на студию, но их прежней работе бок о бок пришел конец. Еще до начала съемок Дэн все чаще предпочитал работать над сценарием в офисе на Уордур-стрит. Там ему выделили совсем крохотный кабинетик, но он теперь находил, что лучше всего ему пишется в одиночестве, вдали от Нелл. Может быть, отчасти потому, что дома его смущала необходимость обязательно показывать ей то, что он написал, даже если он писал пьесу... Нелл вечно была рядом, заглядывала через плечо, рвалась увидеть каждую сцену, как только он вынимал страницу из машинки. Это раздражало Дэна – вовсе не справедливо, ведь Нелл просто пыталась сохранить

былую неразрывность их существования. Он все чаще работал вне дома, она тоже: держала корректуру в издательстве, заводила новых друзей среди коллег. Несмотря на это, обоим стало тесно в маленькой квартирке близ Бромтон-роуд. Здесь и зародились первые приступы молчания Нелл. Дэн стал возвращаться домой все позже и позже.

Если говорить об этом периоде их жизни, вина лежит на Дэне – целиком и полностью. Работа у Нелл была мелочной и однообразной, совершенно неинтересной для человека, окончившего университет гораздо успешнее, чем это удалось Дэну. И вот он делал именно то, что хотел (хотя вовсе не то, что ему было бы действительно необходимо делать), а она застряла на месте, корпя над чужими огрехами. К тому же Дэн не сумел устоять перед мишурным блеском своего нового окружения, как бы презрительно ни отзывался он об этом новом мире в присутствии людей, подобных Джейн и Энтони.

Коммерческое кино – как галлюциногенный наркотик: оно искажает восприятие каждого, кто в нем работает. За парадным фасадом на кон ставится личная власть, личный престиж; кинопроизводство сводится до уровня карточной игры, где каждый игрок, чтобы выжить, должен стать кем-то вроде профессионального обманщика, шулера. Успех здесь всегда выпадает на долю двуличных; вступить в эту игру, надеясь сохранить невинность, столь же невозможно (хотя Дэн поначалу искренне старался это сделать), как с такой же надеждой переступить порог дома, над которым горят огромные неоновые буквы: «БОРДЕЛЬ». И то, что на публике здешние бандерши, сутенеры, проститутки и вышибалы маскируются под «респектабельных» режиссеров, кинозвезд, знаменитых продюсеров и антрепренеров, липший раз доказывает, как много им приходится прятать от чужих глаз.

Такое кино не может быть искусством. Никакое искусство не станет всегда и во всем предпочитать бесчестного человека – честному, Тартюфа – искреннему, посредственность – гению, расчет – эстетическим и этическим принципам; никакое искусство не может по сути своей основываться на принципах низменного популизма, сводясь к наименьшему общему знаменателю. В один прекрасный день история задастся вопросом: как могло случиться, что так мало поистине зрелых фильмов было создано в двух странах, обладавших для этого наилучшими возможностями? Почему брак по расчету меж двумя интеллектами – еврейским и англосаксонским – породил столько ничтожного блеска и столь мало сути? И отчего так непропорционально много свидетельств, что кино воистину может быть не просто искусством, но искусством великим, явилось из стран за пределами англоговорящего мира?

Очень скоро выяснилось, что Дэн оказался не способен задаваться подобными вопросами. Во время съемок своей первой картины он во второй раз изменил Нелл. Главную женскую роль в фильме играла актриса, чье лицо и ножки не сходили со страниц самых дешевых лондонских газет. Позднее она отправилась сниматься в Голливуд, где и заработала свое знаменитое прозвище «Открытый чемпионат». Ни один уважающий себя калифорнийский «жеребчик» не мог упустить возможность поучаствовать в этом «чемпионате» хотя бы раз. Студийные сплетники в «Пайнвуде» утверждали, что она уже успела переспать с полуугасшей звездой – американским актером, приглашенным сниматься, чтобы обеспечить фильму заокеанский прокат. Поначалу Дэн находил ее неестественной и глупой. Только такой всеядный продюсер и такой лизоблюд-режиссер, с которыми ему пришлось иметь дело, могли пригласить эту диву на роль раздираемой душевными муками героини – офицера Вспомогательного женского авиационного корпуса. Но потом эта актрисуля обрела почти трагический вид жертвы неуправляемых обстоятельств, мученицы затянувшихся съемок. И дело было не только в застарелой печали женщины, за все расплачивающейся собственным телом. Казалось, ей порой и в самом деле не по себе от того, как плохо она играет. В такие периоды она играла еще хуже обычного, и все же, по-своему, она старалась не подводить членов труппы. К тому же она была для Дэна первой женщиной, чья репутация строилась целиком на сексуальной привлекательности. Через пару недель он вдруг обнаружил, что она почему-то предпочитает его общество компании всех

остальных участников съемок. Ей приходилось много времени уделять рекламным мероприятиям, а Дэн часто бывал занят последними доделками и переделками сценария, но, когда оба бывали свободны, они стали встречаться – поболтать вдвоем.

Он поддразнивал ее, совершенно беззлобно, а она была слишком глупа, чтобы остроумно отвечать ему; но ей нравилось, когда мягко вышучивали ее журнально-обложечную внешность. У нее создавалась иллюзия, что она видит шутника насквозь.

Этот тип никудышных актрис всегда жаждет найти опору в первом попавшемся неопытном умнике, которого удастся обвести вокруг пальца: теперь я это понял, как понял и то, что такой умник попадает на удочку вовсе не из-за его незадачливости и скромности, как представляют дело некоторые из попадавших в подобную переделку, а из-за непреодолимой привлекательности пышного бюста, подчеркнутого платьем с вырезом до пупа или блузкой на размер теснее, чем требуется. Мотивы, движущие этими дамами, не более гуманны, чем те, что побудили Цирцею^[108] пригласить Одиссея выпить... или те, что обратили Далилу^[109] в брадобрея. Впрочем, и побудительные мотивы Дэна были не столь уж гуманны: просто он, пусть и не сознавая того, жаждал освободиться от сбедающих его иных соблазнов.

Она была знакома с Нелл, знала, что Дэн женат; должно быть, чувствовала, что волнует его физически. Наступил момент, когда он понял, что стоит ему лишь руку протянуть... Накануне свободного от съемок дня она предложила ему заскочить к ней, если он будет в городе и случайно окажется вблизи Керзон-стрит, где она снимала квартиру. Он ответил, что должен быть на студии. «Очень жаль», – промурлыкала она, а всепонимающий и полный иронии взгляд досказал остальное.

Не знаю, что это было: всего лишь похоть или какое-то извращенное стремление доказать самому себе, что именно «успех», а не обычная человеческая порядочность и есть высшая нравственная категория; а может быть, участившиеся ссоры с Нелл и ее дурное настроение; или – роковое воспоминание о дне, проведенном с Джейн, ставшее к тому времени липшим доказательством, что безграничный эгоизм может сойти безнаказанно... и отдаваться нежным, поэтичным эхом в тайниках души, когда возвращаешься домой, к Нелл, а она – если захочет – все еще бывает мила и нежна. Тогда я больше всего склонялся к последнему из объяснений: Джейн.

Съемки почти закончились, когда это произошло. Дэн уже не ездил в «Пайнвуд» и работал над окончательным вариантом своей новой пьесы «Красный амбар». Нелл ушла в издательство – читать гранки. Незадолго до полудня раздался телефонный звонок. Тот самый голос. Цирцея утверждала, что ей предложили сценарий, который она хочет обязательно показать Одиссею; если у него найдется время разделить с нею ленч... Дэн неожиданно обнаружил, что и канаты, и мачта существуют лишь в его воображении. Он схватил такси, примчался в квартиру на Керзон-стрит и трахнул хозяйку. По правде говоря, отправился он туда, не имея в виду именно – или исключительно – эту цель; но тут его обычно весьма изобретательное воображение оказалось бессильным: дверь ему отворила совершенно нагая женщина. Разумеется, он мог бы повернуться и уйти... Много лет спустя, в Голливуде, он случайно встретился с ней снова, даже сидел напротив нее на званом обеде. Она теперь пользовалась гораздо более громкой (и весьма сомнительной) славой; вполне возможно, она просто осторожничала, но у него создалось впечатление, что она напрочь забыла об их краткой близости.

Все совершалось в абсолютном молчании и длилось довольно долго: секс ей давался гораздо лучше, чем актерская игра; но это был их первый и последний акт. По сути, это приключение подтвердило его прошлый опыт с Джейн, только на этот раз диалог о будущем свелся всего лишь к двум-трем строкам. Он не собирался разрушать свой брак, а она и не претендовала на это – значит, все остается без изменений. К вящему удивлению Дэна, сценарий, который ей предложили, реально существовал. Дэн забрал его домой; вероятно, она полагала, что он принесет его ей и потребует гонорар за работу. Но он поговорил с ней по телефону и отослал

рукопись почтой. Она не была слишком огорчена, когда он оборвал разговор на темы более плотские, чем сценарий. Вела себя совершенно естественно, оставаясь такой, какой, под личной драматической актрисы, была на самом деле: секс воспринимала как любительский спорт и удовлетворялась, как только плоть торжествовала над интеллектом.

Но мне не следует так уж легко сбрасывать этот эпизод со счетов: цинизм пришел несколько позже. Дэн покинул квартиру на Керзон-стрит, растерянный и потрясенный собственным поступком, и я помню, что целый день испытывал гадливость по отношению к себе. Он побродил по Гайд-парку и в конце концов, бог знает почему, очутился в Геологическом музее – скорее всего потому, что экспонаты там не принадлежали к роду человеческому. Потом он целый час, или даже больше, просидел в баре, хоть и знал, что Нелл может прийти домой раньше его и надо будет придумывать какое-то алиби. На самом же деле она задержалась в издательстве – заканчивала чтение гранок, – и у Дэна оказалось достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и привести в надлежащий вид порядком попорченную маску. Ему было совершенно ясно, что он сделал гадость и что такое не должно повториться. Но конечно, он перешел теперь в иное качество; в его отношениях с Джейн было глубоко запрятанное, но разделяемое обоими чувство, оправдывающее обоих сознание единения, невероятной трудности происходящего; понимание (хотя бы теперь, при взгляде назад), что случившееся – трамплин к чему-то более высокому и благородному – скажем, к той жизни, которую она теперь вела.

А сегодня он изменил Нелл с потаскухой, и произошло это не только в типично бордельной обстановке, но и в соответствующем стиле, разве только деньги не пришлось платить. Дэн прошел все обычные стадии – сначала винил себя, потом стал искать оправданий: Нелл держит его на коротком поводке, ему необходима свобода... а под свободой он тогда главным образом подразумевал, хоть и не признавался в этом даже себе, возможность свободно пользоваться плодами возрастающего успеха. Так что Нелл, как он теперь думал, оказалась непомерно дорогостоящей страховкой от жизненных неудач – как сексуальных, так и профессиональных. Он давно понял, что женщины находят его привлекательным, но приключение на Керзон-стрит, после того как прошел первый шок, вскружило ему голову. Он решил, что должен быть *невероятно* привлекателен – я употребляю здесь «должен быть» в обоих смыслах: и описательном, и побудительном. Дэн завел себе отвратительную привычку испытывать на дамах свое очарование гораздо более сознательно, чем делал это раньше. Разумеется, не на виду у Нелл. Убеждал себя, что это всего лишь игра, небольшой реванш.

А также – кое-какая компенсация, поскольку внешне он очень старался проявлять всяческую заботу о Нелл. В июле он передал новому литературному агенту рукопись «Красного амбара», дождался его первой реакции (теплой и взволнованной) и отправился с женой на машине – провести отпуск во Франции. Они не торопясь проехали в Прованс, провели там четыре недели, ухитрившись сводить концы с концами, потом, также не торопясь, отправились домой. Отпуск получился удачным с самого начала: погода, еда, пейзажи, секс и чувство, что они могут неожиданно спокойно обсуждать отчуждение последних месяцев... Дэн позвонил в Лондон из Авиньона: оба театральные режиссера, прочитавшие к тому времени пьесу, хотели ее ставить... Дэн и Нелл закатили самый дорогостоящий обед за всю их тогдашнюю жизнь и за этим обедом приняли кое-какие решения. Нелл бросит работу и станет готовиться к материнству; они подыщут себе квартиру попросторнее или небольшой дом, как только вернутся в Лондон. С возвращением они задержались больше, чем на первоначально запланированные три отпускные недели, полученные Нелл в издательстве. Нелл отправила туда заявление об уходе с работы из крохотного сонного порта, очаровательного уже потому, что там и не пахло вульгарщиной Сен-Тропе^[110]. Думаю, в тот счастливый месяц Дэн мог бы выбрать подходящий момент и признаться Нелл в том, что произошло на Керзон-стрит; но он испытывал глубокий затаенный страх из-за того, как далеко может зайти такое признание; а может быть, он – как всегда – держал про себя свои тайны. По правде говоря, он и тут был предельно эгоистичен.

Но солнце подарило Нелл новое тело, контрацептивы были заброшены и забыты, зной снова и снова возбуждал в них обоим желание, и, если Дэн и заглядывался – потихоньку – на другие женские тела, они больше не вызывали в нем зависти. Деньги у них были на исходе (как запланированные, так и утаенные), и на обратном пути им пришлось довольствоваться заштатными клоповниками и все более дешевой едой, в основном – бутербродами; но и это казалось им тогда забавным. Долгое время после того путешествия оба считали, что это и был их настоящий медовый месяц, и не только потому, что Нелл сразу же забеременела. Этот отпуск убедительно доказал, что – увы! – они могут быть счастливы (как это было в Оксфорде) только в ирреальном, а не в реальном мире. Но тогда ни один из них этого еще не понял.

Я думаю, что «Красный амбар» был если и не новым, то во всяком случае вполне свежим словом в драматургии того времени. Наверное, это к счастью, что у меня тогда были весьма отрывочные представления о том, к чему стремился в своем творчестве Брехт. Идея пьесы возникла совершенно случайно, после того, как мне на глаза попался судебный отчет тех времен о деле Уильяма Кордера^[111]. До этого Мария Мартен была для меня всего лишь типичным воплощением бьющей на дешевый эффект деревенской жеманницы. Но тут я сразу увидел, что на этом материале можно сделать интересную историческую пьесу. Правда, потребовалось некоторое время, чтобы я понял, что центральной фигурой в пьесе должен стать Уильям, а не Мария; а над диалогами я работал с таким усердием, какого раньше за собой и не замечал. Однако успех спектакля обеспечила вся команда: декорации оказались лучшими декорациями года, в пьесе было пять крупных ролей и несколько интересных вторых, так что на приглашение режиссера сразу же откликнулись прекрасные актеры.

Первый большой успех сродни собственному юному телу, это чудо, которым до конца может насладиться лишь тот, кому оно принадлежит... да и то только пока сам остается юным. Во всяком случае, Дэн прожил ту зиму в состоянии самоуспоения, позволявшего не замечать сыплющихся на них мелких неурядиц. Единственным серьезным разочарованием – в профессиональном плане – стала неудачная попытка поставить пьесу в Нью-Йорке; но после Нового года она пошла в Швеции и в Западной Германии, и он вел переговоры о продаже авторских прав в некоторые другие страны. Тучи, сгущавшиеся на семейном горизонте, не казались в то время такими уж грозными.

Несмотря на то что купленная мной на девяносто девять лет аренда на квартиру в Ноттинг-Хилле была самой лучшей – за всю мою жизнь – сделкой, совершенной без посторонней помощи, сразу же по переезде туда Дэна и Нелл стали одолевать сомнения. Отчасти это объяснялось жалкими потугами «быть не хуже соседей» – стремлением, словно эпидемия тяжелой болезни, охватившим мир шоу-бизнеса. Им стало казаться, что они просчитались. Люди, с которыми они теперь общались, жили в гораздо лучших условиях и часто – как водится в таких случаях – значительно выше средств. Они посмотрели множество небольших домов – в Сент-Джонс-Вуде, в Айлингтоне, в Фулеме, – но все они не шли ни в какое сравнение с коттеджем в Уитеме. Там как раз продавался тогда коттедж, и втайне оба мечтали о таком, находя в то же время десятки причин, делавших покупку невозможной. Впервые в жизни Дэн обратился к услугам бухгалтера: стоимость аренды в Лондоне была такова, что в здравом уме они не могли позволить себе приобрести еще и коттедж. Новую квартиру обставили вещами из «Хилза»^[112], счета приходили огромные; это не помешало Нелл позднее упрекать Дэна за то, что они не купили много такого, чего просто не могли себе позволить.

Во время беременности Нелл стала раздражительнее, чем обычно, и квартира вызывала у нее все больше и больше нареканий. То оказывалась, что она слишком велика, то Нелл заявляла, что надо быть сумасшедшим, чтобы не понимать – главное для ребенка сад, а тут его нет. Все чаще и чаще ее раздражало, когда приходилось оставаться дома одной, все чаще она тосковала по «нашей милой маленькой квартирке» близ Бромтон-роуд. Готовка никогда не казалась ей интересным занятием, так что в последние месяцы ее беременности мы стали почти каж-

дый вечер обедать вне дома. Я понял, что так можно избежать скандалов. Однако не следует преувеличивать: Нелл до некоторой степени разделяла охватившую Дэна эйфорию по поводу успеха пьесы, мы ждали ребенка... большей частью ощущение было такое, что с квартирой, по-видимому, действительно вышла ошибка, но это не так уж важно. Десятого апреля родилась Каро, и на некоторое время все остальные проблемы были забыты. Дэн закончил черновой набросок новой пьесы, и на той же неделе, что стал отцом, он подписал контракт на новый сценарий.

Думаю, нет ужаснее браков, чем те, где ребенок оказывается орудием (или используется как таковое), раскалывающим семейный монолит. Каро была трудным ребенком, она испытала на себе все болезни и недомогания, каким могут быть подвержены дети, истощив Нелл и нервно, и физически. Мне кажется, я нес свою часть ноши: работал дома, когда писал черновой набросок пьесы. Но получилось как-то так, что Каро оказалась чем-то вроде квартиры: сама по себе – прекрасная идея, но воплощенная в реальность не ко времени. Кроме того, возникло что-то вроде сестринского соперничества: Джейн, ожидавшая второго ребенка, стала образцовой матерью, и Нелл не могла не принять участия в этой эстафете. Я уговаривал ее отдать одну или даже две лишние спальни какой-нибудь молодой женщине, которая согласилась бы помогать ей по хозяйству или просто быть рядом, когда Нелл остается одна, – иностранке или даже безработной актрисе. Но Нелл не только не могла справиться со своими заботами, она и признаться в том, что не справляется, тоже не могла; позже она утверждала, что просто страшилась того, что тут может произойти, если она уедет в Уитем.

Тем летом она ездила в Уитем все чаще и чаще, и мне приходилось все больше времени проводить вне дома. Я заботливо провожал ее с ребенком на Паддингтонский вокзал и усаживал в поезд, а потом с удовольствием возвращался домой – к своей работе. К концу следующей недели я отправлялся в Уитем, чтобы привезти жену и дочь в Лондон, но то время, что я проводил без них, постепенно обретало вкус свободы, отпуска, праздника. Нелл ездила в Оксфорд все чаще и чаще. Может быть, тут-то и начались наши неприятности – с этого совместного существования троих взрослых и их детей в Оксфорде, ведь Дэн оказался как бы частично отлучен от их союза, хотя тогда он этого не замечал.

С этого времени я уже не чувствую себя таким виноватым. Нелл стала закипать, как только возвращалась в Лондон, и все чаще задумывалась над тем, какие несправедливости таит в себе ее новая роль. И быстро пришла к выводу, что они гораздо хуже, чем то, с чем ей приходилось сталкиваться в издательстве; то же относится и к старой квартирке: чем дальше, тем больше и то и другое стало восприниматься как несостоявшееся прекрасное будущее, а вовсе не временное и неприятное прибежище, каким и работа, и квартира казались ей прежде. Но иногда вдруг все это вспоминалось как нечто отвратительное, с той нелогичностью, которая мне представляется одной из наименее приятных черт у особой женского пола, – так случалось, если я предлагал жене простейшее решение проблемы, а именно – попросить у ее бывших нанимателей работу на дом.

Такое сползание все глубже в безнадежность, особенно когда оба попавших в подобную ситуацию наделены сверхщедрой долей непримиримого эгоизма, стало в наши дни настолько типичным, что я не стану описывать здесь все пройденные нами этапы. Изменения в характере человека, как и в характере отношений, не заявляют о себе слишком явно: они подкрадываются постепенно, из месяца в месяц, укрываясь за ширмами примирений, кратких периодов довольства друг другом, за попытками начать все сначала... Подобно симптомам смертельной болезни, они, прежде чем выявить истинное положение вещей, рожают множество утешительных мифов.

Самым ярким проявлением этой болезни был, на мой взгляд, поворот на сто восемьдесят градусов в отношении Нелл к моей работе в кино. Она отвергала все с порога; если говорить о вышедшем на экраны моем первом фильме – вовсе не без причины. Критики разнесли

фильм в пух и прах; только двое – одним из них был Барни Диллон – отметили достоинства сценария, напроць зачеркнув все остальное. Однако новый сценарий был более обещающим, и мне доставляло удовольствие работать с Тони. Его нельзя было бы даже с натяжкой назвать великим режиссером, но он был далеко не дурак и сильно отличался – в лучшую сторону – от своего предшественника.

Сюжет этого психологического триллера строился на оригинальном замысле Тони и назывался «Злоумышленник», хотя на экраны был выпущен под названием «Лицо в окне». Тони знал, чего хочет, и умел заставить меня работать в нужном направлении; в то же время он был открыт новым идеям. Я многому у него научился, и в частности тому, как разграничивать работу сценариста и постановщиков. Нелл принимала в штыки мои восторги, когда я возвращался после совещаний с режиссером, и я стал таить их от нее... если сама она и не говорила в открытую, то отношение ее подразумевало, что я продаю себя, гонясь за скороспелым успехом и дешевой популярностью. А когда *кое-что* в один прекрасный вечер все же было сказано, всплыли имена Энтони и Джейн. Они, мол, не понимают, как я мог затесаться в этот продажный *demi-monde*¹⁰, почему не удовлетворяюсь писанием пьес... во всяком случае, так она это изображала. Разумеется, никто из них не говорил мне этого в лицо, но я ощущал, что дистанция меж нами все возрастает, общий язык утрачивается, а нравственные ценности оказываются разными. Мир кино интернационализирует: я стал смотреть на Джейн и Энтони как на безнадежных провинциалов. Две формы крайнего упрямства противостояли друг другу: назревал конфликт, и Нелл, выступавшая в роли «пятой колонны» в моем собственном лагере, вызывала у меня возмущение.

Как-то вечером – стоял, должно быть, июль или август – я, придя домой, обнаружил, что Нелл с Каро без предупреждения отбыли в Уитем. Накануне мы долго ссорились, и утром, когда я после завтрака уходил на работу, Нелл еще спала. В конце недели я отправился в Оксфорд и привез их домой. Возможно, Энтони действительно был не в курсе дела, но в глазах Джейн, как я заметил, светился вопрос... и упрек. Нелл, несомненно, успела с ней поговорить. Я обозлился, но виду не подал. В то время я работал над вторым вариантом сценария. Произошла какая-то путаница с расписаниями актеров, исполняющих главные роли, поэтому надо было срочно начинать съемки фильма. Мне выделили комнату в конторе производственного отдела и дали секретаря на полставки. Андреа, наполовину полька, была двумя годами старше меня; она вовсе не походила на скромненькую секретаршу: уже тогда она была чуть ли не самым лучшим секретарем производственного отдела по эту сторону Атлантики – этаким бывалый полковой старшина; только в тех случаях, когда старшина пыжится и берет горлом, она проявляла такт и здравомыслие. Мне сразу же пришелся по душе ее профессионализм; невозможно было не восхищаться тем, с какой быстротой и аккуратностью она перепечатывала мои наброски и тактично обсуждала их, иногда предлагая что-то сократить, или указывала на слабые места. Физически она не казалась мне привлекательной: фигура у нее была тяжело-вата, и держалась она с некоторой отчужденностью, часто свойственной деловым женщинам. Я не знал, что она была раньше замужем: она редко говорила о себе. Единственное, что было в ней славянского (или, во всяком случае, не английского), – это ее глаза. Замечательные глаза, зеленые, как нефрит, иногда они казались светло-карими; взгляд ясный и прямой. Отношения наши развивались очень медленно, все началось с чувства облегчения, ощущения контраста между полнейшей неизвестностью – что еще выкинет вечером Нелл? – и уверенностью, что на работе ждет деловое и интеллигентное товарищество, дружеское участие, придающее смысл и спокойствие каждодневному существованию. Она иногда приходила, когда я показывал Тони новые сцены; он выпаливал новые идеи быстрее, чем я успевал записывать; и я заметил, что он

¹⁰ Полусвет (*фр.*).

– как и я – считает ее профессионалом до мозга костей, да к тому же еще с головой на плечах, и что ему, как и мне, хорошо, когда она тут, под рукой.

Никаких отношений вне работы у нас с ней не было. Андреа обычно выходила из конторы, чтобы купить мне сэндвичи, порой я приглашал ее в какое-нибудь местечко поближе и подешевле – перекусить. Мало-помалу она стала рассказывать о себе, о своем неудавшемся браке. Она вышла замуж за поляка, бежавшего от немцев в Англию и ставшего здесь первоклассным летчиком-истребителем. С наступлением мира он превратился в алкоголика с садистскими наклонностями и вмешался в какие-то эмигрантские политические игры. Теперь она жила со своей матерью-полькой где-то недалеко от Марбл-Арч^[113]. Каким чудовищным издевательствам подвергал ее муж, я узнал много позже, но уже тогда она мельком упоминала об этом. Она была человеком сдержанным и обладала чувством юмора, какой зовется юмором висельника и окутывает кинопроизводство, как запах солода окутывает пивоварню; однако у меня создалось впечатление, что этот стиль был избран ею в качестве защитной мимикрии. Что-то в глубине ее существа было тяжело ранено этим ее браком. Я потерял ее из виду, когда мы закончили производственные дела, и мне ее очень недоставало. Я был осторожен и не так уж много говорил о ней с Нелл. Они были знакомы – виделись пару раз, и Нелл она не понравилась, во всяком случае, так мне было сказано, но к этому времени Нелл не нравилось все, что относилось к этой стороне моей жизни, однако причин для ревности даже она не смогла тут найти.

Когда начались съемки – они тоже шли на студии «Пайнвуд», – потребовалось кое-что срочно переписать. Известно было, что Тони терпеть не может работать, когда кто-то стоит у него над душой, и я старался как можно реже бывать на площадке. Мы с Андреа часто оставались в конторе одни. Я стал уходить туда, даже когда в этом не было явной необходимости. Киномир полнится слухами гораздо быстрее, чем любой другой: прошел слух, что сценарий хорош, что Тони им доволен, что я быстро овладеваю тонкостями мастерства. Что на меня можно положиться. . . Я грелся в лучах заслуженного одобрения. Мне хотелось овладеть и другими тонкостями дела: втайне я мечтал когда-нибудь и сам ставить фильмы.

Примерно в это время мне пришлось решать – с помощью совершенно бесполезных, зато многочисленных советов жены, – кем же я хочу быть. На подходе был еще один сценарий. На самом деле никакой дилеммы не было. Я знал (или думал, что знаю), что кино никогда не сможет всерьез заменить мне театр. Но это было интересно и приносило больше денег. Если же я хотел сказать что-то свое и по-настоящему «значительное», это могло быть сделано только на сцене театра. В новой пьесе, которую я тогда задумал (и которая потом вышла под названием «Снимается кино»), я собирался говорить об этом: о компромиссах, на которые приходится идти, о ложных ценностях и фальшивых соблазнах мира кино. Однако я чувствовал, что пока еще не готов ее написать, и к тому же я, видимо, опасался оскорбить курочку, которая несла золотые гонорары. Помимо всего прочего, я был слишком тесно связан со своей съемочной группой, чтобы придуманные мной персонажи были неузнаваемы.

Но тогда важнее всего мне было доказать Нелл, что она не права. Правда, когда я взялся за третий сценарий, в семейных неурядицах наступило временное затишье. Казалось, Нелл смирилась с моим нежеланием отказаться от «альтернативной» профессии; и если она не одобряла этого моего занятия, то не могла не одобрять деньги, которые оно приносило. Мой новый литагент позаботился, чтобы я получал не самые низкие гонорары. Я старался исполнять желания жены. Понимал, что мы слишком много тратим, но, если это могло принести в дом мир, я считал траты оправданными.

И – вполне предсказуемо: в один прекрасный день, на студии, Андреа выглядела несколько подавленной; Дэн спросил, что случилось, и она сказала – у нее день рождения, добавила что-то о том, как празднуются дни рождения, когда ты еще ребенок. . . как никогда не удается повзрослеть настолько, чтобы относиться к ним как к обычным дням. Дэн немед-

ленно отправился в буфет и купил полбутылки шампанского. Она рассмеялась. Они выпили. Потом, во время ленча, Дэн объявил о дне рождения всем остальным, принесли еще шампанского... Ничего особенного не произошло. После этого они вместе вернулись в производственный отдел. На ее столе по-прежнему стояла маленькая бутылка из-под шампанского; Андреа обернулась и поцеловала Дэна. Дело было не в поцелуе: он был недолгим и нежным, и поцеловала она Дэна в щеку, а не в губы. Но что-то в чуть заметно продлившемся объятии, в быстро погашенном выражении глаз, прежде чем она отвернулась, прозвучало словно призывный колокол. Дэн почувствовал: она дает понять, что ее товарищеское отношение к нему лишь видимость. Вот и все. Кто-то вошел, а на завтра все было как прежде.

Через несколько дней, поздно вечером, Дэн и Нелл только легли и он протянул руку – одним из тех жестов, которые муж и жена привычно понимают как приглашение к близости, – как Нелл резко оттолкнула руку.

– Ну извини, – сказал он как можно более легким тоном.

Нелл лежала не шевелясь. Через несколько секунд вскочила, со злостью схватила и зажгла сигарету: преамбула, которую он слишком хорошо научился распознавать.

– Ну, что опять стряслось?

– Ты сам прекрасно знаешь.

– Разумеется. А то бы не спрашивал.

Она терпеть не могла эти мои, как она говорила, «сарказмы третьеразрядного кино». Ничего не сказала, только рывком отдернула шторм и усталилась в ночь.

– Не пойму, чего ты добиваешься.

– Развода.

Дэн явился домой поздно, пришлось торопиться, чтобы не опоздать на обед с друзьями: с той самой подругой, которая устроила Нелл на работу в издательство, и ее мужем. Дэн видел, что Нелл осталась недовольна вечером, что она из-за чего-то раздражена, и объяснил это чувством зависти к подруге, весело болтавшей об издательских делах, завистью – вопреки всякой логике – к карьере, которая теперь была ей вовсе не нужна. Но развод – это было что-то совсем новое.

– Почему?

Он ждал, но ответа не последовало. И вдруг он страшно испугался: ему подумалось, что Джейн, облившись на что-то, могла... Он повторил:

– Почему?

– Сам знаешь.

– Из-за того, что я лишил тебя работы, которую ты терпеть не могла, когда ею занималась?

– Ох боже мой! – Она помолчала. Потом произнесла: – Здорово же ты наловчился врать.

Не могу не восхищаться.

– Понятия не имею, о чем ты.

– Об интрижке, которую ты завел с этой польской коровой.

Он шумно вздохнул, вроде бы выражая презрение к смехотворному обвинению; на самом же деле это был вздох глубочайшего облегчения.

– Ну ладно. Давай выкладывай. Или письмо было без подписи?

– Так это правда?

– Никакая это не правда. Мне, правда, жаль, что ты не польская корова, а взбесившаяся английская сучонка.

– Еще бы. Только об этом и мечтаешь.

Дэн вскочил с постели и бросился к ней, но она повернулась к нему раньше, чем он до нее дотянулся. Увидел ее лицо, освещенное снизу уличными фонарями. Оно казалось одновременно испуганным и злым – одержимым. Это его остановило: он почувствовал, что перед ним другая, переродившаяся Нелл, которую он не знает и не может понять.

– Это неправда, Нелл, – сказал он.

– Ее бывший муж сегодня звонил. Кое-что про нее рассказал. Ты явно шагаешь по хорошо утоптанной дорожке: ведь торная тропа никому не заказана. Да ты и сам знаешь.

– Да он же псих ненормальный! Ей даже пришлось добиться судебного определения, чтобы он перестал осаждать ее мать! На студии все про это знают.

Они стояли шагах в шести друг от друга, лицом к лицу.

– Мне он показался совершенно нормальным.

– Ну что ж, посмотрим, что скажет суд. Вчиню подонку иск за клевету.

– А он говорит, все в «Пайнвуде» про вас знают. Только об этом и говорят.

Но голос ее звучал уже не так напряженно.

– Нелл, ради всего святого, он же сумасшедший. В прошлом году он досаждал этим ее матери. К тому же он католик... не дает ей развода, он... Господи, да как ты можешь верить в эту чушь?

– Потому что это вполне могло бы быть правдой.

Дэн отвернулся и нашарил сигареты. Должно быть, он здорово рассердился, потому что готов был с нею согласиться – и объяснить почему. Но она поспешила продолжить:

– На прошлой неделе вас видели. Ты входил к ней в квартиру.

– Я подвез ее домой. Она пригласила меня зайти – познакомиться с матерью. Выпить по стаканчику. Вот и все. Заняло полчаса.

– Только ты забыл упомянуть об этом.

– Помнится, ты в тот вечер была так полна переживаний по поводу ужасов материнства, что для нормальной беседы места не оставалось.

Это Нелл проглотила молча.

– Ты всегда ее домой подвозишь?

– Она же отвечает за производственный отдел, черт возьми! Уходит после всех. Нет, не всегда.

– Что-то ты больно много о ней знаешь.

– Имею на это полное право. Кроме того, она прекрасный работник. И приятный человек. – Он вздохнул. – Она мне нравится, Нелл. Только это вовсе не значит, что я тебе изменяю.

Нелл снова отвернулась к окну. Дэн сел в изножье кровати.

– Ты, верно, часто рассказываешь ей про взбесившуюся английскую сучонку, на которой имел неосторожность жениться.

– На эту дешевку я и отвечать не буду.

Воцарилась тишина; все это напоминало средневековые рыцарские игры: после каждого наскока ей надо было придумать новый способ атаки, похитрее.

– Ты совершенно исключаете меня из своей жизни. Я о тебе теперь совсем ничего не знаю. Сегодня звонил Сидни. – Сидни был новый литагент Дэна. – Об этом американском предложении. А я о нем и слыхом не слыхала.

– Возможно, мне предложат написать еще один сценарий. Ничего еще не решено. И я не исключаю тебя из своей жизни. Ты сама себя исключаешь.

– Ты становишься каким-то другим. Такого тебя я не могу понять.

– Просто ты не хочешь взрослеть. Хочешь, чтобы ничего не менялось.

Она горько усмехнулась:

– Еще бы. Я просто обожаю эту уродскую слоновью квартиру, обожаю безвыходно сидеть в четырех стенах, пока ты там...

– Ну давай переедем. Купим дом. Возьмем тебе au pair^[114], помощницу. Няньку найдем. Будет так, как ты захочешь.

– Ну да. Только бы я оставила тебя в покое.

– Понял. Брошу все, буду целыми днями сидеть дома, чтобы тебе было на ком злость срывать.

Она заговорила более спокойным тоном:

– Не пойму, как это Энтони и Джейн могут обходиться без ссор и по-прежнему любят друг друга, а мы...

– Да пошли они к... – Помолчав, он продолжал более спокойно: – Если кто и завел себе интрижку, так это ты. С Энтони и Джейн.

– Спасибо.

– Но это же правда. Если тебе хотелось выйти замуж за университетского профессора и жить среди дремотных спиленей, какого черта ты...

– Ты тогда был другим.

– Спасибо огромное.

– Ты сам начал.

И так далее и тому подобное. Закончилось все это ее слезами и целой кучей новых решений. Но из этого ничего не вышло. Нелл позвонила подружке, взялась за вычитку рукописей, но очень скоро ей это надоело. Поначалу она терпела и работу, и квартиру. Потом наступил недолгий период, когда мы взялись за поиски дома, но почти сразу же выяснилось, что цены растут; к тому же ни тот ни другая не были уверены, что им так уж нравится то, что они видят. Нелл опять устремилась душой прочь из Лондона, больше всего теперь ей нужен был дом за городом. Порой, под настроение, она винила Лондон во всех наших бедах.

Пожалуй, ирония судьбы заключалась в том, что этот инцидент подтолкнул нас с Андреа друг к другу, ускорив то, что должно было произойти. Я счел, что нужно рассказать ей о том, что творит ее злосчастный Владислав; но почему-то не мог заставить себя сделать это на работе. Пришлось несколько дней подождать; потом Нелл с Каро и я отправились вместе в Уитем провести там выходные, и Нелл решила остаться до следующей пятницы; собственно говоря, в свете «новых решений» она не собиралась там оставаться, это я ее уговорил. И вот я пригласил Андреа пообедать вместе; я не стал вводить ее в заблуждение, предупредив, что мне надо сказать ей кое-что не очень приятное. Думаю, она догадалась, что именно, хотя была потрясена, когда услышала об этом, извинялась и рвалась поговорить с Нелл, объяснить... но ведь Нелл взяла с меня слово, что я ни за что не сделаю того, что сделал: ничего не скажу «этой бедняжке». (Из «польской коровы» Андреа очень быстро превратилась в «бедняжку».)

В китайском ресторане, куда мы с Андреа отправились пообедать, я наконец услышал всю историю ее замужества. Во время войны она служила во Вспомогательном женском авиационном корпусе; знание польского языка определило место и характер ее работы. Она влюбилась и быстро выскочила замуж за Владислава; его неуравновешенность тогда казалась совершенно естественной в условиях постоянного стресса: стычки, боевые вылеты, намалеванные под кокпитом свастики... Но наступивший мир, сделка союзников со Сталиным настроили его против Англии и англичан; эти настроения только усилились, когда ему не удалось стать пилотом коммерческих авиалиний. К этому времени он уже сильно пил. Вместе с ним Андреа пришлось сначала заниматься «польским вопросом», потом «католическим», потом «эмигрантским»; а тут еще выяснилось, что она не может иметь детей. В результате у нее образовалось какое-то грустно-презрительное отношение ко всему польскому (кроме матери-польки) и непреходящее чувство вины перед негодяем, за которого она вышла замуж. Теперешняя работа в кино спасла ей жизнь или по меньшей мере помогла не сойти с ума. Даже тогда я подозревал, что отчаяние, которое на работе она порой прятала под скорлупой легкого цинизма, куда глубже, чем можно предположить. Она чувствовала, что оказалась в ловушке, что выхода нет. Она была как бы и Нелл, и Дэном одновременно: Нелл – в том смысле, что жизнь не дала ей полностью осуществиться, и Дэном, так как брак ее оказался ошибкой. Андреа призналась мне, что у нее было несколько романов с тех пор, как погиб ее брак, но каждый раз получалось так, что «была

задета другая женщина». Был у нее роман и с Тони, год назад (это меня шокировало: не само по себе, а потому, что такое мне и в голову не пришло). Тони женат, и дети у него есть, так что все происходило в глубочайшей тайне. В кинобизнесе все мужики – подонки, сказала она, даже самые хорошие.

Мне не следует изображать Андреа такой уж спокойно-объективной по отношению к самой себе или слишком флегматичной и бесполой. Она была «*belle laide*»¹¹, как говорят французы; ее очарование проникало в душу очень медленно. Ее фигура не казалась привлекательной, особенно рядом с двадцатилетними цыпочками, каких брали на работу продюсеры – готовить кофе, радовать взор и ублажать самолюбие. Но лицо было поразительное, особенно – глаза, самые замечательные из всех, какие я знал в своей жизни. Это давало ей некоторое преимущество, поскольку всем больше всего хотелось смотреть именно на эти глаза. Она была не из тех женщин, которых легко держать на расстоянии: было в ней что-то от *femme fatale*¹²; и она сознательно этим пользовалась. Возможно, так она пыталась компенсировать недостаток чисто физических чар, какими широко пользуются более миловидные женщины. И она прекрасно понимала, что ее магнетизм действует гораздо сильнее, чем сознают это мужчины, впервые встретившись с ней. Помимо всего прочего, она была старше меня, и не только в буквальном смысле... может, из-за тяжеловатой фигуры... виделось в ней что-то такое – материнское... Не знаю.

В ответ на ее рассказ в тот вечер я рассказал ей кое-что о своей жизни с Нелл. Я не плакался; более того, даже оправдывал отношение ко мне жены в значительно большей степени перед Андреа, чем – в глубине души – перед самим собой. Думаю, тот вечер – по всей видимости – должен был лишь подтвердить, что никакие иные отношения между нами, кроме сотрудничества и доброй дружбы, просто невозможны. Я проводил ее домой, поцеловал в щечку и нежно пожал ей руку, потом взял такси и уехал; теперь я уже мог представить себе близость с Андреа, но это было бы совсем не похоже на две первые мои измены. Ни ее темперамент, ни наши отношения на работе не допустили бы кратковременной связи.

Когда в 1962 году она покончила с собой, я долго не мог выкарабкаться из депрессии. Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы виделись в последний раз, и понадобилось немало времени, чтобы я смог понять, почему эта утрата и чувство вины оказались гораздо тяжелее, чем можно было бы объяснить чисто внешними обстоятельствами. Не было даже ощущения, что, если бы те два года, которые мы пробыли вместе, закончились браком, а не разлукой – в силу обстоятельств и нежелания обоих изменить привычный образ существования, – она не ушла бы из жизни по собственной воле. Тогда я знал ее уже хорошо, знал и то, что она бывает подвержена приступам тяжелой депрессии. Ощущение было такое, что именно ей принадлежит последнее слово; что она вынесла приговор жизни каждого из нас, нашей профессии, всей нашей эпохе. Бог на поверку оказался отчаявшимся чужаком, страдающим паранойей; и все мы оказались членами того самого занюханного клуба польских ветеранов, расположенного недалеко от Бэйзуотер-роуд, на управление которым он потратил всю свою пропитую жизнь. Я никогда не встречался с Владиславом, но с тех пор, как умерла Андреа, постоянно вижу его образ, непреложно скрывающийся за всякой великой иллюзией.

Пассажиры в вагоне зашевелились, стали подниматься с мест. Я увидел огни уличных фонарей, их расплывчатые отражения в черной воде. В тщательно хранимом, типично английском молчании мы въезжали в самый типичный из английских городов. Оксфорд – *alma mater*¹³, Венера-Минерва, стоязыкое чудище, вместилище надежд и амбиций; Шекспирова

¹¹ Букв. «красиво некрасивая» (фр.).

¹² Роковая женщина (фр.).

¹³ Букв. мать-кормилица. Здесь: родной университет (лат.).

Верона, студенческий Эльсинор от начала времен – тех времен, что формируют личность...
Не город – инцест.

Rencontre¹⁴

Я тотчас же узнал Джейн, еще когда стоял в очереди к билетному контролю. Помахал ей, и она на мгновение подняла руку в ответ: будто мы не виделись не шестнадцать лет, а всего несколько дней. Сорокапятилетняя женщина в кожаном пальто, отороченном мехом у горла и по подолу, без шляпы и без сумочки, руки засунуты в карманы; лицом она казалась много, много старше, чем прежде, но сохранила что-то из прежней отдельности, непохожести на всех окружающих. Даже если бы она была незнакомкой, случайно привлечшей взгляд, я непременно взглянул бы на нее еще раз. Пожилой пассажир, шедший передо мною, заговорил с ней, проходя мимо. Я увидел ее улыбку. С минуту они обменивались репликами. Ее пальто... В нем было что-то слишком яркое, отдававшее сценой. В волосах ее не было заметно седины, может быть, она их подкрашивала – они казались чуть светлее, чем помнилось мне, чуть золотистее: длинные волосы, свободно заколотые на затылке серебряным гребнем. Она сохранила тот чуточку испанский стиль, тот самый *Gestalt*¹⁵, что так помнился мне с юности. Во всем остальном она выглядела как типичная профессорская жена, элегантная, знающая себе цену и вполне на своем месте в этом городе.

Она все еще разговаривала с тем пассажиром, когда я добрался до контролера. Тут она извинилась, и он проследовал дальше. Джейн не двинулась с места, только скупой улыбнулась, когда я направился к ней. В последний момент опустила глаза. На краткий, удивительный миг мы оба, казалось, застыли, не зная, что делать. Она по-прежнему держала руки в карманах. Потом протянула мне обе руки:

– Забыла роль, – и взглянула мне прямо в глаза; взгляд был то ли чуть ироничный, как прежде, то ли пылливый, я не разобрал. – Ты не изменился.

– Ты тоже. Выглядишь ошеломительно.

– Не то слово.

Вблизи она выглядела не моложе своих лет. Морщинки усталости добавились к тем, что принес возраст. Косметики на лице не было. А еще – она втайне чего-то боялась, я это чувствовал. Не могла решить, что я такое. Мы одновременно улыбнулись своей неловкости, как улыбаются незнакомые люди.

– Машина недалеко.

– Замечательно.

Джейн повернулась и первой вышла в вечернюю тьму.

– Я... мы так тебе благодарны, Дэн, я...

– Да мне все равно пора было возвращаться. Правда.

Она пристально разглядывала мокрый асфальт. Потом чуть склонила голову, неохотно принимая мои уверения. Мы прошли туда, где она оставила машину.

Прежде чем мы уселись, она взглянула на меня над крышей машины:

– Тебе не слишком трудно увидеться с ним сегодня же?

– Конечно нет.

– Я подумала, тебе неплохо выпить чего-нибудь для начала. Можно заехать в «Рэндольф».

– Прекрасно. А потом я поведу тебя обедать.

– Но у нас дома... *Au pair* что-то приготовила...

– Возражения не принимаются.

Крохотный конфликт, столкновение воле; и снова она уступила, чуть пожав плечами.

¹⁴ Встреча, поединок (*лат.*).

¹⁵ Образ, внешний вид (*нем.*).

До «Рэндольфа» было недалеко, но Джейн успела рассказать мне, очень скупой, без эмоций, о состоянии Энтони. Рак желудка дал обширные метастазы; оперативное вмешательство не помогло. По первоначальному прогнозу, он давно должен был умереть. Мы поговорили о ее детях, о других родственниках, о Каро. О Барни я ничего ей не сказал. Пока мы обменивались банальностями, я чувствовал, как меня охватывает вовсе не печаль, а глубоко запрятанное чувство счастья: все давно забытое – я ведь и Оксфорда не видел целых шестнадцать лет – и все же не забытое, улицы, дома, эта женщина за рулем рядом со мной... что-то еще более глубокое, странная перевернутость времени, наших биографий... редкостный миг, когда радуешься, что до этого дожил. Может быть, присутствие смерти всегда сказывается вот так. Утраченные ценности снова обретают значение, ты живешь, и это главное; ощущение этой великой удачи тонет в суете и компромиссах обычных дней.

Мы отыскали свободный столик. Джейн сняла свое «русское» пальто и осталась в брючном костюме; простая кремовая блузка заколота у горла позолоченной брошью с крупным коричнево-черным агатом. Она показалась мне выше и тоньше, чем я помнил, может быть, из-за брючного костюма. Я заказал ей бокал кампари, а себе большую порцию виски. Едва официант отвернулся, я положил конец разговорам ни о чем.

– Я представлял себе этот день столько раз за эти годы, Джейн. Но никогда не думал, что это будет так, как сегодня. – Она не поднимала глаз от столешницы. – Я сам во всем виноват. Хочу, чтобы это больше не стояло между нами.

– Мы все виноваты, – тихо сказала она. Помолчав, добавила: – Это один из немногих догматов веры, по которым мы с Энтони все еще сходимся.

– Ты больше не считаешь себя католичкой?

Ее улыбка стала более искренней.

– Все это было ужасно давно, правда?

– Вчера я весь вечер вытягивал из Каро необходимую информацию.

Она по-прежнему улыбалась, но глаз так и не подняла.

– Боюсь, я отпала от веры много лет назад.

– А Энтони – нет?

– Он принял последнее причастие. То, что называется приобщением святых тайн для болящих. Кажется. – Она, видимо, поняла, что такая неопределенность выглядит весьма странно. – Во всяком случае, попы его посещают довольно часто. – Потом добавила: – За эти годы религия стала у нас дома запретной темой. Говорят, без запретных тем не обходится ни один благополучный брак.

Официант принес наши бокалы. Я отметил про себя это ее «говорят», и мне потребовалось некоторое время, чтобы избавиться от иллюзии, что бывают браки без сучка без задоринки.

– Ну а дети?

– Пошли по стопам безбожницы матери.

– Никогда не подумал бы.

Джейн пригубила кампари. Я подождал – может, ей захочется произнести тост. Но я так и не получил столь очевидного, хотя и вполне тривиального доступа к ее истинным чувствам. Она меня все больше озадачивала, может быть, потому, что я приехал сюда с огромным запасом предубеждений... а может быть, не сумел правильно истолковать то, что говорила о ней Каро. С одной стороны, я ожидал увидеть в Джейн больше зрелости и деловитости, с другой – надеялся встретить больше сердечности и теплоты. Та всегдашняя, чуть заметная улыбка, которая была так свойственна ей когда-то, казалось, исчезла, как и прежняя ее живость, внутренняя наэлектризованность, неуспокоенность, поэтичность, которыми она умела зарядить даже самые банальные встречи, даже торопливый взмах руки с той стороны улицы, над головами

прохожих, даже улыбку мельком, из-за чужих лиц, на людной вечеринке. Сейчас я ощущал лишь глубочайшую замкнутость и не мог понять, что она таит.

– Я полагаю, если вера способна выдержать такие удары, она не может не быть истинной.

– Ему всегда удавалось черпать уверенность из несовместимых явлений. – Она помолчала и добавила: – Или истин.

– Принцип максимальной абсурдности?

– Вроде того. – Она сделала над собой усилие, чтобы казаться более общительной. – Он не ударился в меланхолию, вовсе нет... ведет себя вполне мужественно. Вполне философски. Даже слишком. Для философа. Но этот принцип теперь ему ближе всего. Внутренний диалог ведется именно об этом. – Она поморщилась. – Вечные истины и всякое такое.

– Его можно понять.

– Ну конечно. *Chacun a sa mort*¹⁶.

– Это его слова или твои?

Она изобразила некое подобие улыбки:

– Энтони и умирает как истый оксфордец. Вся его ирония – при нем.

Я попристальнее взгляделся в ее улыбающееся лицо.

– Мне представляется, что не только Энтони ведет себя мужественно.

Джейн пожала плечами:

– Нелл считает, я в этой истории веду себя слишком жестко. – Я снова взгляделся в ее профиль – она явно подыскивала слова, понятные чужаку. – За последние несколько лет она научилась почитать условности и стала вызывающе консервативной. Воззрения сплошь из «Дейли телеграф».

– Я так и понял. Из слов Каро.

– Столп общества. По-моему, мы недооценивали Эндрю.

– Он вовсе не такой дурак, каким притворялся.

– Я помню, ты и раньше так говорил.

– Нелл счастлива с ним?

Беглая улыбка, словно такие мелочи не имеют значения.

– Думаю, счастлива – насколько характер позволяет.

– Я рад.

Но она по-прежнему избегала смотреть мне в глаза. Оба мы разглядывали группку студентов в противоположном конце зала. Наше щегольство конца сороковых годов не шло ни в какое сравнение с дендизмом этих юнцов – оно показалось бы просто жалким. Я чувствовал себя все более неловко с Джейн: она была так необщительна, так отстраненна, будто стремилась дать мне понять, не говоря прямо, что я здесь не по ее воле. Не вредно было бы и ей, хоть она только что осудила за это Нелл, чуть больше почитать условности. Я сделал еще одну попытку навести мосты над тем, что пролегло между нами:

– Чего он от меня хочет, Джейн?

– Может, слегка переписать прошлое?

– Как это?

Она помолчала.

– Мы о тебе не говорили, Дэн. О прошлом тоже. Уже много лет. Я знаю – он очень ждет встречи с тобой, но он так и не... соизволил объяснить почему. – Она заговорила быстрее: – Беда с людьми высокоцивилизованными: они умеют так глубоко скрывать правду о вещах нецивилизованных. Я только знаю, что он был страшно расстроен, когда я попыталась убедить его, что мы не имеем права обременять тебя... По крайней мере, *это* было вполне искренне, – добавила она.

¹⁶ Каждый умирает по-своему (*фр.*).

– Тут я на его стороне. Вы, конечно, имели право.

– Все это вовсе не значит, что я не благодарна тебе, ведь ты приехал. – На миг я встретил ее взгляд, почти прежний, столько в нем было искренности и самоиронии. – Просто сейчас я не в состоянии хоть в чем-то увидеть надежду или смысл. Не обращай внимания.

Но после этих слов не обращать внимания я уже не мог; все было так странно, словно наши прежние родственные отношения ничего не значили, словно все изменилось и нужно было каждой фразой, каждым жестом подтверждать свой родственный статус. Казалось, она хотела сказать, что теперь я – слишком важная и известная персона, чтобы тратить свое время на нее – существо захолустное и незначительное.

– Было бы чудом, если бы ты почувствовала себя иначе.

– Может быть.

Улыбка ее была поразительно ненатуральной, и – абсурд! – она снова принялась извиняться, уже по другому поводу:

– Знаешь, пока не забыла, Нелл просила передать, она очень жалеет о том, что сказала тебе тогда по телефону... О твоей приятельнице...

– Ну, я и сам поддался на провокацию.

– Я видела ее только в одном фильме. По-моему, она прекрасно играет.

– Она может далеко пойти. Если будет держаться подальше от людей вроде меня.

– У нее на этот счет, скорее всего, имеется собственное мнение?

Я глянул на студентов за столиком напротив:

– Ее место – в той компании, Джейн. У меня совсем другой столик.

– Она хочет за тебя замуж?

Я покачал головой:

– Я всего лишь помогаю ей в первом познании Голливуда. Пытаюсь отдалить неизбежное.

– А именно?

– Момент, когда она в него поверит.

Она кивнула, улыбнувшись, и снова в этом ответе было слишком много от вынужденной вежливости, она будто бы давала понять, что мысли ее далеко. Я заметил, как она тайком бросила взгляд на часики.

– Нам пора?

– Он уже, наверное, покончил с так называемым ужином.

– А что же мы? Где тут теперь можно хорошо поесть?

И снова – недолгий спор по этому поводу: Нелл недавно привезла пару фазанов из Комптона... но я заставил Джейн согласиться и, выходя из кафе, заказал по телефону столик в рекомендованном ею итальянском ресторане; Джейн позвонила домой – предупредить au pair. Может, мне лучше остановиться в отеле? Но тут наступил ее черед проявить упорство. Мы отправились в больницу.

Вот тут больше пригодилась бы кинокамера: глаза, полные сомнений, потупленные взгляды, недоговоренность с той и другой стороны, затаенная неловкость. У меня сохранялось впечатление о женском характере, податливом, словно воск, на котором запечатлелись догматы Энтони и его взгляды на жизнь; однако теперь мне казалось, что передо мною – печальный, зрелый вариант прежней Джейн, прежней самостоятельной личности, только теперь ее независимость обернулась безразличием. И она была иной, чем я представлял себе со слов Каро: почему-то мне не дано было увидеть тот ее образ.

Я понимал, что мне предстоит открыть ее для себя заново, найти новый язык общения: изощренный, способный скрыть глубоко укоренившийся нарциссизм... манеру, которая к тому же была бы строго критичной. Никакой другой город не может так далеко, как Оксфорд, отойти – если того захочет – от банальных норм общения, свойственных среднему классу всей остальной Англии, с характерными условностями и умолчаниями, фразами, прерванными на

половине, всегдашней преднамеренной невнятицей. Я так долго жил на чужбине, в мире, где единственным мерилom был твой профессионализм в определенной области, в мире, на целую вечность удаленном от этого крохотного мирка, живущего – на поверхности – сугубо научными интересами, а по сути – руководствующегося идеальными, абстрактными и зачастую просто абсурдными понятиями о человеческих ценностях и личной порядочности.

Еще я чувствовал за всей ее внешней почтительностью, что ко мне как бы снисходят – так интеллеktуал снисходит к крестьянину, подчеркнута вежливо делая уступки его невежеству. Ощущение было такое, что я повсюду несу с собой запах того вульгарного внешнего мира, в котором обитал; что существовала по меньшей мере одна причина, по которой Джейн не могла более откровенно выражать свои чувства: я настолько утратил чистоту и тонкость восприятия, общаясь с второстепенными умами второсортного мира, что теперь не мог бы ее понять. Что вполне уживалось с опасением, что я – человек светски умудренный, извне проникший в эту башню из слоновой кости, в ее замкнутый мир со всеми его мелочными лингвистическими и этическими условностями. Наш недолгий спор о том, где поужинать – дома или в ресторане, оказался весьма символичным. Настаивая на своем, я требовал признания своего нынешнего статуса, и она согласилась, хоть и полагала, что это глупо. Порекомендовав итальянский ресторан, она тут же принялась отговаривать меня, заявляя, что «там абсурдно высокие цены», будто хотела сказать, что деньги в нашей жизни должны оставаться по-прежнему проблемой, что нам не стоило слишком далеко уходить от времен студенчества.

Мы ехали сквозь туман по улицам Оксфорда, и я чувствовал, что совершенно сбит с толку и разочарован; я все больше нервничал, понимая, как далека от меня эта сидящая так близко женщина, и подозревал, что муж ее окажется еще более далеким. Снова, остро и неожиданно, я затосковал о молодой женщине, которая физически была сейчас так далеко, в Лос-Анджелесе, и которую я из живой и реальной только что превратил в объект благоденствия; я затосковал не по ее телу, но по ее открытости и простоте, по ее «сейчасности», настоящести. Для кино не существует ничего, кроме «сейчас»; оно не позволяет отворачиваться, чтобы заглянуть в прошлое или будущее; именно поэтому кино – самая безопасная из иллюзий. Вот почему я потратил на него столько времени и столько изобретательности.

Преступления и наказания

Воздействие общества на личную судьбу человека загадочно, но, поскольку наш век нельзя упрекнуть в нежелании разгадать эту загадку, пожалуй, следует сказать – загадочно для меня самого. Всю свою жизнь я метался меж верой в хотя бы малую толику свободной воли и детерминизмом. И вот – единственный четкий вывод: решения, которые, как мне представлялось, были результатом моего собственного свободного выбора, вовсе не свидетельствуют о большей разумности, чем те, что продиктованы слепой судьбой. Одним из самых страшных чудовищ семнадцатого века в бестиарии моего отца был квиетизм; а в моих глазах эта философия – когда он яростно ее обличал – выглядела привлекательной... Прежде всего представлением, что и добродетель, и порок – оба враждебны благодати. Никакой благодати я, разумеется, не обрел, но точно так же не нашел и убедительных доводов в пользу того, что следовать собственной природе хуже, чем противиться ей. Главная проблема, опаснейшая ловушка, разумеется, в том, как узнать, что есть твоя истинная природа.

Не припомню, чтобы кого-нибудь в моем окружении тех лет особенно волновали разруха первого послевоенного десятилетия и всеобщее возмущение тем, что, победив в кровавой бойне, мы должны теперь за это еще и расплачиваться. Сегодня я думаю, что главным побудительным мотивом всего моего поколения (а не только моего класса) был крайний эгоизм. Мы без всякого сожаления (сожаления пришли гораздо позже) наблюдали, как рушатся имперские и коммерческие основы национальной культуры, главным образом потому, что утрата общенациональной цели давала нашему эгоизму больше *Lebensraum*¹⁷. Большинство из нас на публике были либералами, однако наедине с собой каждый был партией одного человека – самого себя, предопределяя переход – в шестидесятые годы – многих из нас на сторону правых. Начало сегодняшнему положению вещей, когда все определяется противостоянием разбогатевших и желающих разбогатеть, было положено уже тогда.

В большинстве своем мы рассматривали такое противостояние в контексте теории марксизма. Истинное лицо британских профсоюзов и лейбористской партии нам еще только предстояло разглядеть. Кто мог подумать, что эта партия окажется такой подспудно-буржуазной и консервативной или что политическая жизнь страны вырождается в вялотекущий конфликт не столько меж тори и социалистами, сколько между комфортом апатии (исторической судьбой) и периодическими всплесками свободного волеизъявления, а то и во взаимный шантаж труда, всегда готового к забастовкам, и капитала. Кто тогда мог догадаться, что признанные национальные достоинства (гражданская порядочность, чувство долга, ненависть к насилию и все прочее) в один прекрасный день покажутся столько же проявлением непреодолимой лени, сколько и результатом свободного выбора. Даже нелепая ностальгия по имперскому и военному прошлому, что – словно поганки на гниющем пне – растет и множится в стране в последние годы (и которой я пытался противопоставить скептическую трактовку истории Китченера в своей новой работе, без уверенности, правда, что это поможет, хотя именно это и побудило меня взяться за сценарий), проистекает не столько из политических пристрастий, сколько из чувства растерянности и сознания, что наш сегодняшний эгоизм сыграл с нами худую шутку.

Как многие военнослужащие, в те первые десять лет «мира» вся страна почувствовала себя демобилизованной, освободившейся от многовекового, давно надоевшего долга по отношению к другим, от ложного престижа, притворного единообразия характеров и манеры вести себя. В 1951 году «Фестиваль Британии»^[115] вовсе не возвестил рождение новой эры, он лишь погребальным звоном проводил старую. Тогда-то мы и разбились на племена и группы, а в конце концов – на отдельные особи.

¹⁷ Жизненное пространство (нем.).

В принципе я вовсе не против этого. Уже в школе я не чувствовал себя «британцем»... всего лишь англичанином, и даже это чувство не всегда было таким уж сильным. Но я полагаю, теперь уже ясно, что с превращением нации оболваненных патриотов в сообщество занятых лишь собой индивидуумов мы безнадежно запутались. Мы так и не поняли, что происходит на самом деле; и так же точно, как не хватило сил создать новые политические партии, способные справиться с новыми нуждами – и новыми опасностями, – характерными для сообщества себялюбцев, нам не хватило порядочности сбросить старые маски.

Себялюбие стало явлением повсеместным, но мы считали, что это личная тайна каждого и ее следует прятать от всех остальных... а значит, по-прежнему нужно прикрываться пуританским лицемерием, сохраняя весь пестрый набор: тут и всеобщая озабоченность экономикой страны и новой ролью Великобритании (будто речь идет о знаменитом актере)... Суэцкий фарс, не столь давние вопли о порнографии и обществе вседозволенности, победа Карнаби-стрит^[116] над Даунинг-стрит, триумф телевидения – чем не современный вариант «хлеба и зрелищ»? – над демократическими настроениями. Все, что хоть на йоту по-настоящему заботило мое поколение и тех, кого оно породило на свет, – это своя собственная, личная судьба; забота о других судьбах – всего лишь ширма. Может, так оно и должно быть, не знаю; но чудовищные напластования лицемерия и двойных стандартов, зловонные клубы лжи, которыми сопровождается еще не заверченный процесс, наверняка сделают нас омерзительными в глазах Истории.

Не стану делать вид, что Дэн был честен и дальновиден с самого начала; не скажу также, что он был готов скорее пожертвовать неродившимся ребенком, чем оставить неудовлетворенным малейший свой каприз; правда, теперь мне хотелось бы, чтобы он шагал тогда потверже, был не так готов к компромиссам и лжи. Если он и выстоял в схватке с будущим чуть более успешно, чем большинство его сверстников, то лишь потому, что его себялюбие оказалось более многосторонним, а посему у него было больше возможностей его тешить. У Нелл, я думаю, шансов выстоять не было.

Эра эгоизма предоставила Дэну возможность обратить старые пороки в новообретенные свободы. А Нелл она обрекала на существование в тесной клетке. Это и было реальным поводом для ее ревности; в этом и заключалась его истинная измена.

Словно страна перед лицом готтентотов, надвигающихся прямо от Кале, Дэн стремился замкнуться, отгородиться от внешнего мира. Мир внутренний, живой и яркий, отчасти созданный одним его воображением, отчасти – измененной воображением реальностью, в котором он жил с самого детства, теперь полностью вступил в свои права. Прежде это порой воспринималось как некое извращение, даже жестокость, но потом, когда пришел успех, прощалось и поощрялось и, наконец, дерзко завладело всей его жизнью. Этот мир все меньше и меньше допускал постороннее вмешательство, не терпел отвлечений и яростно противостоял незаконному захвату своих территорий. Нелл представляла собою постоянную угрозу, она могла неожиданно вторгнуться, проникнуть в этот мир украдкой и обнаружить, что «золото», скрытое в крохотных серых клеточках мозга, не такой уж высокой пробы. Я подозреваю, что наша все возрастающая несовместимость была в какой-то мере не только психологической, но и исторически обусловленной. Если бы я родился в более раннюю эпоху, когда общество наказывало еретиков, я никогда не предал бы Нелл или, во всяком случае, постарался бы получше скрыть свое предательство. Но я – драматург, в Викторианскую эпоху этот вид искусства и за искусство-то не считался. Полагаю, викторианцы столь долго предавали театр анафеме и всячески кастрировали его потому, что понимали – драма намного ближе к неблагоприятной реальности, чем роман. Она прилюдно выдает секреты, выбалтывает тайны чужакам; реплики доносятся не анонимной строкой печатной страницы, не в уединении, подобном тому, в каком совершаются естественные отправления или противоестественные сексуальные забавы, не в глубине одинокого ума, а мужчинами и женщинами, выступающими перед широкой аудиторией. Роман,

печатная страница – вещи очень английские; театр (вопреки Шекспиру) – нет. Меня всегда мучил этот парадокс, сосуществование во мне глубоко личного «я», стремящегося укрыться от посторонних взглядов, и «я» публичного, фальшивого; моих так и не написанных сонетов и не просто написанных, но выставленных на всеобщее обозрение пьес.

В 1954 году я написал свой первый «большой» сценарий, четвертый по счету. Натурные съемки предстояли в Испании. Впервые я отправился в Голливуд, поскольку мне предстояла еще и встреча с «большим» продюсером – священным чудовищем... и, как часто бывает с людьми этого типа, в нем, если судить здраво, было гораздо больше чудовищного, чем священного. Нелл и Каро приехали в Америку вместе со мной, но остановились у матери с отчимом, на Восточном побережье. Те три недели, что я жил на Западе один, я спал с девицей, которая подобрала меня в баре отеля. Ей нужно было проникнуть в мир, куда я только что сделал первый осторожный шаг, но на самом деле она была больше похожа на неудачливую потаскушку, которую так хорошо сыграла Вероника Лейк^[117] в фильме Престона Стёрджеса^[118], чем на честолюбивую шлюху. Она нравилась мне не только в постели, но и в каждодневном общении, в немалой степени потому, что легко принимала жизнь такой, как она есть, что приятно отличало ее от Нелл, все больше стремившейся уйти от реальности. Даже ее наивность и незнание голливудской жизни (она сама всего лишь пару месяцев назад приехала со Среднего Запада) казались мне очаровательными, особенно потому, что мое собственное превосходство в этом смысле было весьма сомнительным... просто я походя набирался опыта и знаний в каждодневной суете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Антонио Грамши (1891–1937) – основатель и руководитель коммунистической партии Италии, теоретик-марксист, по образованию филолог. В 1928 г. фашистским трибуналом был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Умер через несколько дней после формального освобождения по амнистии. Его теоретические работы в области истории, философии и культуры вошли в его «Тюремные тетради».

2.

Георгос Сеферис (George Seferis, 1900–1971) – греческий поэт, эссеист, дипломат (посол Греции в Лондоне, 1937–1962); лауреат Нобелевской премии по литературе 1963 г.

3.

...он берет за косу – какими крохотными оказываются тогда ее изогнутое косовище и длинное лезвие... – Английские косы имеют особым образом изогнутое косовище (рукоять) и длинное, слегка изогнутое лезвие.

4.

...золотые плоды Примаверы... – апельсины на картине Боттичелли «Примавера» («Весна»); «красавица Бата», «вдова Пелам» – названия сортов яблок ассоциируются у мальчика с именами героинь литературных произведений: сказки «Красавица и Чудовище» (в пересказе Мадам де Бомон) и романа Э. Бульвер-Литтона «Приключения джентльмена».

5.

Девонский диалект — диалект, на котором говорят крестьяне в графстве Девоншир.

6.

Ищейка — помесь шотландской овчарки с гончей.

7.

Аргус — в древнегреческой мифологии многоглазый великан, бдительный страж возлюбленной Зевса – жрицы Ио; был убит Гермесом. После смерти был превращен в павлина.

8.

Нимрод — правнук Ноя, отважный охотник (Библия. Быт. 10, 8–9).

9.

Благочинный – здесь: священник, наблюдающий за духовенством нескольких приходов.

10.

«Бидермейер» — аляповатый, вычурный стиль мебели, характерный для периода 1815–1848 гг. в Германии; в переносном значении – мещанский.

11.

Нарциссизм — самолюбование, преувеличенный интерес к своей особе, в основном к физическим, но также и к интеллектуальным данным.

12.

Шалтай-Болтай — персонаж английской детской песенки-считалочки «Humpty-Dumpty sat on a wall...»: «Шалтай-Болтай сидел на стене, / Шалтай-Болтай свалился во сне, / Вся королевская конница, вся королевская рать / Не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» (Перевод С. Маршака.)

13.

Иеронимо — герой пьесы Томаса Кида (1558–1594) «Испанская трагедия» (1592).

14.

Камелот — место расположения королевского двора легендарного правителя бриттов короля Артура (предположительно V–VI вв. н. э.). Здесь речь идет о кинофильме «Камелот» — вероятно, о снятой Джоном Бурманом в 1967 г. экранизации популярного бродвейского мюзикла.

15.

Солипсизм — здесь: признание единственной реальностью только своего «я».

16.

Гарольд Роббинс (1916–1997) — американский автор популярных романов с большим количеством эротических сцен.

17.

Саймон... Как в том стишке. Поскольку ты тоже простачок. — Имеется в виду детский стишок «Саймон, Саймон, простачок...» («Simple Simon met a pieman...»)

18.

Рита Хейворт (Маргарита Кармен Кансино, 1918–1987) — знаменитая в 40-е гг. американская киноактриса, снимавшаяся в фильмах «Клубничная блондинка», «Кровь и песок», «Сказки Манхэттена», «Гильда» и др., была известна, в частности, своими скандальными похождениями.

19.

Аспасия (ок. 470–410 до н. э.) — знаменитая в Афинах куртизанка, любовница афинского государственного мужа и военачальника Перикла.

20.

Мимесис (букв. подражание, перевоплощение) — как философско-эстетический термин обозначает искусство как «подражание подражанию» (греч.). (Поскольку, согласно греческому философу Платону, видимый мир есть подражание высшему миру идей, искусство, подражающее реальности, есть лишь подражание подражанию.)

21.

Фукидид (ок. 460–400 до н. э.) — греческий историк.

22.

Зулейка — героиня романа Генри Максимилиана Бирбома (1872–1956) «Зулейка Добсон» (1911), иронически передающего атмосферу Оксфорда конца прошлого века.

23.

Буллингдон — Буллингдон-клуб в Оксфорде – клуб студентов-спортсменов из аристократических и состоятельных буржуазных семей.

24.

Анцио — городок на побережье Средиземного моря (Центральная Италия), где в январе – мае 1944 г. шли кровопролитные бои между немецко-фашистскими войсками и войсками союзников.

25.

Эйгхмырьчик — Джейн насмешливо обыгрывает имя Эндрю Рэндалла, сравнивая его с персонажем комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь», глупцом сэром Эндрю Эйгчиком.

26.

Fais ce que voudras — «Делай что хочешь» (фр.), принцип жизни Телемского аббатства (Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»).

27.

«Кларидж» — один из самых известных и дорогих отелей высшего класса в Лондоне, в районе Мейфэр.

28.

«У подножия вулкана» (1947) – роман Малькольма Лаури (1909–1957).

29.

Пустыня Мохаве — пустыня на юге Калифорнии, США.

30.

«Гражданин Кейн» (1941) – знаменитый фильм о взлете и падении газетного магната, поставленный известным американским режиссером Орсоном Уэллсом по сценарию, написанному им в соавторстве с Г. Манкевичем; оператор Г. Толанд. Фильм явился важным этапом в развитии американского и мирового кино, поскольку там, в частности, была блестяще применена система глубинного мизансценирования.

31.

«Розовый бутон» — предсмертные слова героя фильма «Гражданин Кейн», символизирующие невозможность купить счастье за деньги, власть, славу и т. п. Розовый бутон – рисунок на детских санках героя – символ детства, чистоты и невинности.

32.

«Деттол» — дезинфицирующее средство для обработки ран и ссадин. Дженни так называет виски.

33.

Брандо Марлон (1924–2004) – один из самых популярных актеров США, впервые получил известность в роли Стенли Ковальского в фильме «Трамвай "Желание"» (реж. Э. Казан, 1947). Неоднократно получал премию «Оскар», в частности за исполнение роли главы клана в фильме «Крестный отец» (реж. Ф. Коппола, 1972), исполнитель главной роли в фильме «Последнее танго в Париже» (реж. Б. Бертолуччи, 1972).

34.

Китченер Гораций Герберт (1850–1916) – английский военный деятель, фельдмаршал, граф Хартумский. Генерал-губернатор Восточного Судана (1886–1888), затем – генерал-губернатор Судана (1899). В качестве командующего английскими войсками в Египте руководил подавлением восстания махдистов (1895–1898). В 1900–1902 гг. – командующий армией в англо-бурской войне. В 1902–1909 гг. – на различных военных должностях в Индии. В 1911–1914 гг. – британский агент и генеральный консул в Египте, фактический правитель страны. С 1914 г. – военный министр. 5 июня 1916 г. выехал с визитом в Россию на крейсере «Гэмпшир». Около Оркнейских островов корабль подорвался на mine, и Китченер погиб.

35.

Саутенд (Саутенд-он-си) – город на северном берегу реки Темзы, у самого устья. Знаменит прогулочной дорожкой у моря, тянущейся на несколько километров.

36.

«Кошки» — знаменитый музыкальный спектакль на стихи поэта, философа и историка культуры Томаса С. Элиота (1888–1965), музыка Эндрю Ллойда Уэббера.

37.

«Потоки» — текущий съёмочный материал фильма (киножаргон).

38.

Анджелино (Angeleno) – пренебрежительное прозвище жителя Лос-Анджелеса.

39.

«Art Nouveau» — «Новое искусство» (фр.), тж. модерн, югендштиль, либерти и др. – направление в искусстве, возникшее в последнее десятилетие XIX в. и просуществовавшее до начала Первой мировой войны. Основывалось на неклассических, «органических», линиях и формах. Одним из ярчайших примеров являются рисунки Обри Винсента Бердслея (1872–1898), а также дизайн входов парижского метро Гектора Гимара (1867–1942).

40.

...этюд декораций Гордона Крейга... – Эдвард Гордон Крейг (1872–1966) – английский театральный художник, чье влияние на искусство театра и кино XX в. было весьма значительным.

41.

Ануй Жан (1910–1987) – один из самых известных французских драматургов XX в. Особенно знамениты его пьесы «Жаворонок» (1954) – о Жанне д'Арк и «Антигона» (1944), в подтексте которой – история французского Сопротивления.

42.

Fin de siècle — конец века (фр.); имеется в виду «Новое искусство».

43.

Толкиен Джон Рональд Руэл (1892–1973) – профессор филологии в Оксфордском университете, приобрел всемирную известность после публикации сказочной эпопеи «Властелин колец» (1953–1954).

44.

«Беовульф» — имеется в виду издание наиболее значительного из сохранившихся памятников древнего англосаксонского народно-героического эпоса VII–VIII вв., дошедшего в списках X в. и хранящегося в Британском музее.

45.

Лабрюйер Жан (1645–1696) – французский писатель-моралист, автор книги «Характеры, или Нравы нашего века», где в сатирической манере, под измененными именами, изобразил характеры и нравы парижской знати того времени.

46.

«Белый дьявол» (1612) – одна из лучших трагедий английского драматурга, сатирика и моралиста Джона Уэбстера (ок. 1578–1632), снова вошедшего в моду в середине XX в.

47.

Уинчестер-колледж — одна из девяти старейших престижных (и очень дорогих) мужских привилегированных школ Великобритании; находится в г. Уинчестере, основана в 1832 г. Уильямом из Уикема, епископом Уинчестерским.

48.

Прокторский «бульдог» — прозвище помощника проктора – надзирателя, отвечающего за поведение студентов в Кембриджском и Оксфордском университетах.

49.

Уикемист — см. предыдущее примечание.

50.

...Габриель Марсель и личный выбор. – Габриель Оноре Марсель (1889–1973) – французский философ и драматург, основоположник католического экзистенциализма (христианского сократизма). Считал невозможным рациональное обоснование религии. В центре его творчества – проблема бытия, преломленная через индивидуальный опыт человека, обретение Бога через понятие «другого». Любовь, согласно Марселю, есть прорыв к другому, будь то личность человеческая или Бог: поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель относит его к сфере «таинства».

51.

Делиус Фредерик (1862–1934) – английский композитор, с 90-х гг. живший во Франции. В 1928 г. был парализован и потерял зрение, но продолжал работать с помощью друга – Эрика Фенби. Наиболее известны его пасторали (например, «Услышав первую кукушку весной», 1907) и две оперы («Деревенские Ромео и Джульетта», 1900–1901, и «Фенимор и Герда», 1909–1910), которые исполняются до сих пор. Находился под влиянием Грига.

52.

Ишервуд Кристофер (1904–1986) – английский писатель, особенно известный своими романами о 30-х гг. в Германии: «Мистер Норрис делает пересадку» («Mr. Noms Changes Trains», 1935) и «Прощай, Берлин» («Good Bye to Berlin», 1939). По одной из частей этого последнего («Салли Боулз») были созданы пьеса «Я – камера» (1951, сценическая версия Ван Другтена) и мюзикл Д. Кендера и Ф. Эбба «Кабаре» (1968). В 1972 г. по мотивам этого мюзикла был создан знаменитый фильм американского режиссера Р. Фосса (р. 1927) «Кабаре».

53.

Новая Англия – часть США, включающая штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. Названа так английским путешественником и исследователем Джоном Смитом в 1614 г.

54.

Шикса — девушка-нееврейка (идиш).

55.

Стигматы – знаки на теле, подобные ранам на теле Христа, оставленным гвоздями и копьем во время распятия. Подобные знаки считаются проявлением благоволения Господня, впервые были явлены на теле св. Франциска Ассизского (1181–1226).

56.

Лабеллум (лат. губа, губка). – В шутке обыгрывается название орхидеи – «губастик» и подобие латинского слова английскому «label» – ярлык, а также пристрастие Энтони к латинскому языку и классификации растений («наклеиванию ярлыков»).

57.

Медикэр (амер. Medicare) – бесплатное медицинское обслуживание неимущих в США.

58.

Слезы Вергилия — см. Данте Алигьери, «Божественная комедия», «Ад», песнь XIV.

59.

Квиетист — последователь философии квиетизма, проповедующей пассивное отношение к жизни, отказ от собственной воли, духовное самоуглубление.

60.

Аддисонова болезнь (по имени английского врача Т. Аддисона, впервые описавшего ее в 1855 г.), или «бронзовая болезнь», – заболевание надпочечников, проявляющееся бронзовой окраской кожи, утомляемостью и пр.

61.

Хью Латимер (ок. 1492–1555) – английский священник, прославившийся своими проповедями. Был обвинен в ереси, но покаялся и был прощен. В 1535 г. получил сан епископа, но вскоре от него отказался. По восшествии на престол Марии Кровавой был осужден как еретик (1553), посажен в Тауэр, а затем сожжен на костре.

62.

«Возрожденец» — приверженец возрожденческого направления в религии, призывающего к возрождению веры через повышенное религиозное рвение.

63.

Арианская ересь (арианство) – доктрина александрийского священника Ария (ок. 250 – ок. 336), отрицавшая божественное происхождение Христа.

64.

Сквайр — главный землевладелец прихода (англ.).

65.

Osmanthus, Clematis armandii, Trichodendron – латинские и греческое названия цветов и цветущих кустарников: османтус – цветущий кустарник; клематис (ломонос арманда) – цветок семейства лютиковых; триходендрон – волосистое деревце с крупными цветами.

66.

Куэ Эмиль (1857–1926) – французский психолог, предложивший гипотезу суггестивной психотерапии.

67.

Генри Джордж Альфред (1832–1902) – английский военный корреспондент и писатель, особенно прославившийся книгами для детей, в основном на военные сюжеты. Наиболее известны его «Юные трубачи», «В пампасах», «Под флагом Дрейка» и др.

68.

Тальбот Бейнз Рид (1852–1893) – английский писатель, автор книг о школе и школьниках; издавал детский религиозный журнал «Мальчишечья газета» («Boys Own Paper»).

69.

Бигглз — английский летчик, детектив и искатель приключений, участник Первой и Второй мировых войн, герой произведений капитана У. Ф. Джонса, автора более сотни книг, публиковавшихся между 1930–1970 гг. Впервые его произведения появились в журнале «Popular Flying» («Полеты для всех»).

70.

Бьюик Томас (1753–1828) – английский гравер по дереву, иллюстрировавший, в частности, «Басни» Эзопа, стихи Гольдсмита и Парнелла и создавший знаменитую «Историю птиц Британии» (1797, 1804).

71.

Гей Джон (1685–1732) – английский поэт, сатирик, баснописец, драматург, автор знаменитой «Оперы нищих» (1728). Первая серия его басен появилась в 1727 г.

72.

Джон Клэр (1793–1864) – английский поэт, писавший в основном о сельской жизни и природе, стихи и поэмы которого написаны лишь ему присущим языком.

73.

Палмер Сэмюэл (1805–1881) – английский художник, крупнейший представитель романтического направления в живописи. Особенно известен своими пейзажами.

74.

Торо Генри Дэвид (1817–1862) – американский писатель, особенно известный книгой «Уолден, или Жизнь в лесах» (1854) – о его жизни в лесной глуши в течение двух лет (1845–1847), а также статьей о гражданском неповиновении (1849); его метод пассивного сопротивления был впоследствии воспринят и развит Махатмой Ганди. Считается также первым экологом.

75.

Геррик Роберт (1591–1674) – священник и поэт; один из тончайших лирических поэтов Англии. Его религиозные, светские и сатирические стихи отличаются оригинальным языком и особой музыкальностью. Получив приход в Дин-Прайоре, он затем был лишен его за любовную связь с женщиной много моложе себя, однако через несколько лет получил приход обратно и служил там до самой смерти.

76.

«Ширбурнские баллады» – сборник баллад, изданный Эндрю Кларком в 1907 г. по рукописи 1600–1616 гг., найденной в Ширбурнском замке (Оксфордшир), принадлежавшем эрлу Макклсфилдскому. Баллады посвящены политическим событиям времен правления Якова I, легендам и сказкам того времени, а также случаям из повседневной жизни.

77.

Сэмюэл Батлер (1835–1902) – английский писатель, поэт, музыкант, ученый. Особенно известен его роман «Путь всякой плоти» (1903).

78.

Крестная перегородка — перегородка в храме, отделяющая клирос от нефа.

79.

Куманская сибилла — древнеримская пророчица в Кумах.

80.

«Четвертая эклога» — имеется в виду одна из «Эклог» великого римского поэта Вергилия (70–19 до н. э.).

81.

Редклифф-Холл — общежитие женского колледжа в Оксфорде.

82.

Панглосс – доктор философии, комический персонаж философской повести Вольтера «Кандид, или Простодушный» (1759).

83.

«Тайгер-мот» — одномоторный поршневым учебно-тренировочный самолет ДН-82 фирмы «Де Хэвилленд».

84.

Горгулья — в готической архитектуре выступающая водосточная труба в виде фантастического чудовища.

85.

...в прямом, джонсоновском, смысле слова... – Сэмюэл Джонсон (1709–1784) – английский писатель, поэт, ученый, создатель первого Толкового словаря английского языка (1755).

86.

Ид – унаследованные инстинктивные импульсы индивида как область подсознательного (психологический термин).

87.

Кандид и Кунигунда — герои философской повести Вольтера «Кандид, или Простодушный».

88.

Кенсингтон — один из центральных районов Лондона.

89.

Сити — исторический центр Лондона, занимающий территорию чуть больше квадратной мили; один из крупнейших финансовых и коммерческих центров мира; здесь находятся главные банки Великобритании, Лондонская фондовая биржа и многочисленные конторы акционерных обществ.

90.

Ноттинг-Хилл — небогатый район в западной части Лондона.

91.

«Айсис» — студенческий журнал Оксфордского университета.

92.

Бен Джонсон (1572/3-1637) – английский поэт и драматург, современник Шекспира.

93.

«Оглянись во гневе» (1956) – пьеса английского драматурга Джона Осборна (1929–1994), крупнейшего представителя движения «сердитых молодых людей» в английской литературе.

94.

«О, будь конец всему концом...» — цитата из трагедии У. Шекспира «Макбет», акт I, сц. 7 (перевод Ю. Корнеева).

95.

Кейп-Код — песчаный мыс на юго-востоке штата Массачусетс, США.

96.

Кувада — обычай, по которому отец ведет себя, как бы испытывая родовые муки, когда рождается его ребенок (фр.).

97.

«Море и Сардиния» (1921) – книга путевых очерков английского писателя, поэта и критика Д. Р. Лоуренса (1885–1930), автора, в частности, нашумевших романов о любви и браке, об отношениях между мужчиной и женщиной. Один из известнейших его романов, «Любовник леди Чаттерлей» (1928), был запрещен к печати и вышел в полном виде только в 1960 г.

98.

Митфорд Нэнси Фримэн (1904–1973) – английская писательница, автор романов о жизни аристократии и биографий исторических лиц.

99.

Итон — одна из старейших мужских привилегированных средних школ в Англии; основана в 1440 г.; учащиеся – в основном выходцы из аристократических семейств страны.

100.

...бал в честь своего совершеннолетия... – В Англии совершеннолетним считается человек, достигший 21 года.

101.

Эзра Паунд (1885–1972) – один из крупнейших американских поэтов и теоретиков искусства, переехавший в Европу в 1908 г.

102.

Тони Лампкин — персонаж комедии английского писателя-просветителя Оливера Голдсмита (1728–1774) «Она склонилась, чтобы победить» (1773; рус. пер. «Ночь ошибок, или Унижение паче гордости»), избалованный бездельник, хитрый и невежественный.

103.

Портобелло-роуд — уличный рынок на улице того же названия в Лондоне; славится своими антикварными лавками.

104.

Гомогенность — однородность, отсутствие различий в результате одинакового происхождения.

105.

«Веселящийся Лондон» – рекламное клише, широко использовавшееся в 60-е гг.

106.

«Пайнвуд» — киностудия концерна «Рэнк организейшн» близ г. Слау, графство Бакингемшир.

107.

Рирпроекция — метод комбинированной киносъемки, когда объект съемки располагается перед экраном, на который с обратной стороны проецируется заранее снятое изображение, служащее фоном для снимаемой сцены.

108.

Цирцея — в «Одиссее» Гомера волшебница, напоившая спутников Одиссея зельем, обратив их в свиней. Одиссей сумел противостоять злым чарам и заставил ее вернуть им человеческий облик.

109.

Далила — возлюбленная силача Самсона, предавшая его филистимлянам. Она остригла ему волосы и тем лишила мощи (Библия. Книга судей, 16).

110.

Сен-Тропе – рыболовецкий порт на юге Франции; знаменитый курорт на Лазурном мысу.

111.

Уильям Кордер — английский лендлорд, пытавшийся принудить к сожительству девушку-горничную по имени Мария Мартен, всячески противостоявшую его намерениям. Конфликт закончился убийством девушки. Эта история легла в основу фильма «Красный амбар», снятого в 1933 г. Все симпатии публики были на стороне Марии.

112.

«Хилз» — большой лондонский магазин мебели и предметов домашнего обихода.

113.

Марбл-Арч (букв. мраморная арка) — триумфальная арка. Сооружена в 1828 г. в качестве главного въезда в Букингемский дворец. В 1851 г. перенесена в северо-восточную часть Гайд-парка. Ныне находится вне его пределов.

114.

Au pair (букв. на равных) — помощница по хозяйству, обычно иностранка, желающая усовершенствовать знание английского языка; за работу получает жилье, питание, деньги на карманные расходы (фр.).

115.

«Фестиваль Британии» — британская юбилейная выставка в Лондоне в 1951–1952 гг., устроенная в ознаменование столетия «Великой выставки» 1851 г. и для демонстрации достижений страны за сто лет.

116.

Карнаби-стрит — улица в Лондоне, известная модными магазинами одежды, преимущественно для молодежи. Даунинг-стрит — символическое обозначение правительства Великобритании (по месту резиденции премьер-министра), привычно воспринимается как воплощение консервативности и респектабельности.

117.

Вероника Лейк (1919–1973) — американская киноактриса, популярная в 40-е гг.

118.

Престон Стёрджес (1898–1959) — американский режиссер и сценарист; наиболее известная картина «Странствия Салливена» (1941) — сатира на Голливуд и американское кино.